



АРЧИБАЛЬД
КРОНИН

*Звезды
смотрят вниз*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Annotation

Один из лучших романов классика английской литературы!

«Звезды смотрят вниз» — это книга о больших социальных проблемах в Англии начала XX века, о тех, кто поддался искушениям, и о тех, кто устоял против них, о тяжелой жизни шахтеров, о борьбе за справедливость, о жадности и жестокости, порождающих смерть и горе. Это роман об истинной любви, о преданности и неверности, о войне, о стремлении следовать собственным идеалам и о лжи ради самовозвышения. Свет и тьма сражаются в каждой строке. А звезды смотрят вниз, где в глубине угольных шахт мерцает истинное Солнце.

Арчибальд Кронин

Звезды смотрят вниз

Когда Марта проснулась, было еще темно и очень холодно. Ледяной ветер с Северного моря врвался сквозь трещины в стенах, образовавшиеся от постепенного оседания этого старого домика из двух комнат. Вдалеке глухо шумел прибой. Больше ничто не нарушало тишины.

Марта лежала не шевелясь, отодвинувшись подальше от Роберта, который всю ночь кашлял и метался, часто прерывая ее сон. Минуту-другую она размышляла, с суровым терпением встречая наступающий день и стараясь подавить в себе чувство горькой обиды на мужа. Наконец с трудом поднялась с постели.

Каменный пол леденил ее босые ноги. Она торопливо, хотя и через силу, одевалась. В ее движениях сказывалась энергия крепкой женщины, которой не было еще и сорока лет. Тем не менее одевание так утомило ее, что она задыхалась. Марта не была голодна, — с некоторого времени она почему-то перестала ощущать сильный голод, — но ее мучила нестерпимая тошнота. Дотащившись до раковины, она открыла кран. Вода не шла. Трубы замерзли.

Марта словно оторопела на мгновение — стояла, прижав огрубевшую руку к вздутому животу и глядя в окно на медленно занимающуюся зарю. Внизу ряд за рядом вырисовывались в тумане дома шахтеров; справа чернел город Слискейл, за ним — гавань, где мерцал единственный холодный огонек, а дальше — море, еще более холодное. Слева застывший силуэт копра над шахтой «Нептун № 17», напоминавший виселицу, выступал на фоне бледного утреннего неба, царил над городом, гаванью и морем.

Морщина на лбу Марты обозначилась резче. Вот уже три месяца тянется забастовка... Словно спасаясь от мыслей об этой беде, она круто отвернулась от окна и принялась разводиться огонь. Нелегкая задача! У нее были только сырые дрова, которые Сэмми вчера выловил из воды у берега, да немного угольной мелочи самого худшего сорта — ее принес Гюи с отвала. Марту Фенвик бесило, что ей, которая, как и подобает жене углекопа, всегда имела запас наилучшего угля, приходится теперь возиться с таким мусором. Но в конце концов ей удалось развести огонь. Она вышла за дверь, одним сердитым ударом разбила лед в кадке, наполнила водой чайник и, воротясь в кухню, поставила его на огонь.

Ждать пришлось долго. Но наконец вода закипела, и Марта, налив себе чашку, примостилась у огня, сжимая ее обеими руками и медленно прихлебывая кипяток. Он ее согрел, по онемевшему телу разлилась живительная теплота. Конечно, напиток чаю было бы еще приятнее — с чаем ничто, ничто не может сравниться, — но и кипяток неплох. Марта чувствовала, что приходит в себя. Пламя, охватив сырые дрова, вспыхнуло ярче и осветило клочок старой газеты, оставшийся от растопки и лежавший на глиняном очаге. Продолжая пить из чашки горячую воду, Марта машинально прочла:

«М-р Кейр Харди внес в палату общин запрос: предполагает ли правительство, ввиду крайней нужды среди населения северных районов, предоставить школам возможность организовать питание детей неимущих родителей? На это получен ответ, что правительство не намерено предоставить такую возможность».

Лицо Марты, исхудавшее до костей, не выразило ничего — ни интереса, ни возмущения. Оно было непроницаемо, как сама смерть.

Вдруг она обернулась. Так и есть, Роберт проснулся. Он лежал на боку в знакомой позе,

подперев щеку рукой, и смотрел на нее. Сразу же вся накопившаяся горечь снова поднялась в душе Марты. Во всем, во всем, во всем виноват он! В эту минуту Роберт закашлялся; она знала, что он все время пытался удержать кашель из страха перед ней. Это был глубокий, тихий, привычный кашель, в нем не было ничего раздражающего. Кашель этот был как будто неотделим от Роберта, — он его не мучил, он одолевал его как-то мягко, почти ласково. Рот его наполнился мокротой. Приподнявшись на локте, Роберт выплюнул ее в клочок бумаги. Он постоянно заготавливал такие квадратики, старательно, заботливо вырезая их из журнала «Тит-Битс» старым кухонным ножом с костяной ручкой. Запас их у него никогда не переводился. Он отхаркивал мокроту в такую бумажку, рассматривал ее, потом складывал и сжигал... сжигал с чувством облегчения. Лежа в постели, он бросал эти сложенные бумажки на пол и сжигал позже, когда вставал.

В Марте внезапно проснулась ненависть к мужу, к этому постоянному кашлю... Тем не менее она поднялась, снова наполнила чашку кипятком и отнесла ему. Роберт молча взял чашку из ее рук.

Стало светлее. Часов в комнате теперь не было, они первыми были заложены — эти мраморные, с башенкой, приз, полученный ее отцом за игру в шары. Да, отец был славный человек и настоящий атлет!

Марта решила, что уже, должно быть, около семи. Она обернула шею чулком Дэвида, надела суконную кепку мужа, перешедшую теперь в ее собственность, и потрепанное черное пальто. Вот это уж, во всяком случае, приличная вещь — ее черное суконное пальто! Она не из тех, что ходят в накинутом на плечи платке, нет! Она всегда была и будет одета, как подобает приличной женщине, несмотря ни на что. Она всю жизнь старалась быть «приличной».

Не сказав ни слова, не взглянув на мужа, она вышла на этот раз через парадный ход и, закрывая лицо от резкого ветра, направилась вниз, в город, по крутому спуску Каупен-стрит.

Было еще холоднее, чем вчера, ужасно холодно. Террасы пустынные, нигде ни души. Марта миновала трактир «Привет», потом Миддльриг, прошла мимо безлюдной лестницы клуба шахтеров, покрытой замерзшими плевками — следы, оставшиеся от последнего собрания, как остается на берегу пена после прилива. На стене было написано мелом: «Общее собрание в три часа». Это написал Чарли Гоулен — тот, что работает контролером у весов, здоровенный шалопай и забулдыга.

Марта дрожала от холода и старалась идти быстрее, но не могла. Ребенок, которого она носила в себе, лежал внутри свинцовым грузом, еще не шевелясь, мешал двигаться, тянул вниз, пригибал к земле. Беременна! В такое время!.. У нее три взрослых сына: Дэвиду, самому младшему, уже скоро пятнадцать... Попасться таким образом! Она сжала кулаки. Негодование закипело в ней. А все он, Роберт... приходит домой пьяный и молча, упрямо делает с ней, что хочет.

Почти все лавки в городе были заперты. Многие закрылись совсем. Даже кооперативная. Но Марта не унывала. В ее кошельке сохранилась еще медная монета в два пенса. На эти два пенса она накупит всего вдоволь. Конечно, к Мастерсу идти бесполезно: вот уже два дня, как он держит на запоре свою лавку, битком набитую закладами, среди которых имеются и ее ценные вещи. Три медных шарика над его дверью позвякивают безнадежно. То же самое у Мэрчисона, и у Доббса, и у Бэйтса — все они закрыли свои лавки, все боятся, до смерти боятся, как бы не случилось беды.

Марта свернула на Лам-стрит, перешла через дорогу, спустилась узким переулком к

бойне. Когда она подошла ближе, лицо ее просветлело: Хоб был здесь. В жилетке поверх рубахи и в кожаном фартуке, он подметал залитый бетоном двор.

— Найдется что-нибудь сегодня, Хоб? — Голос ее звучал робко, и она стояла не двигаясь, ожидая, пока он обратит на нее внимание.

Он отлично ее видел, но продолжал, не поднимая головы, стонять метлой грязную воду с плит. От его мокрых красных рук шел пар. Марта терпеливо дожидалась. Хоб молотчина. Хоб знает ее, он сделает для нее, что может. Она стояла и ждала.

— Нет ли обрезочков, Хоб?

Она просила немногого — какой-нибудь никому не нужный кусок или потроха, которые обычно выбрасывались.

Хоб наконец прервал свою работу и, не глядя на Марту, сказал отрывисто и сердито, потому что ему было неприятно отказывать ей:

— Ничего сегодня нет.

Она смотрела ему в лицо:

— Ничего?

Он покачал головой:

— Ничего! Ремедж приказал нам заколоть весь скот еще вчера вечером, в шесть часов, и все свезти в лавку. Он, должно быть, узнал, что я раздаю кости. Он мне чуть голову не оторвал!

Марта закусила губы. Итак, значит, Ремедж отнял у них надежду поесть супу или жареной печенки. Она стояла расстроенная. Хоб с ожесточением орудовал метлой.

Марта шла обратно задумавшись, постепенно ускоряя шаг, — снова переулком, потом по Лам-стрит до гавани. Она с первого взгляда увидела, что и здесь нет надежды достать хотя бы селедку. Ветер раздувал ее платье, но она стояла неподвижно. Изможденное лицо выражало теперь полное смятение. Не раздобыть и селедки! А она было уже решилась обратиться за подачкой к Мэйсерам. Но «Энни Мэйсер» стояла среди других лодок, выстроившихся в ряд за молом, с убранными, нетронутыми сетями. «Это все из-за погоды», — подумала Марта уныло, блуждая взглядом по грязным бурлящим волнам. Ни одна лодка не вышла сегодня в море.

Она медленно повернулась и с поникшей головой зашагала обратно в город. На улицах теперь было больше народу, город оживал, несколько телег с грохотом катилось по мостовой. Прошел Харкнесс из школы на Бетель-стрит, человечек с острой бородкой, в золотых очках и в теплом пальто; пробежало несколько работниц канатного завода в деревянных башмаках; клерк, дую на окоченевшие пальцы, торопился в канцелярию городского магистрата. Все они старались не замечать Марту, избегали ее взгляда. Они не знали, кто эта женщина, но они знали, что она с Террас, откуда шла беда, та напасть, что обрушилась на весь город и длилась вот уже три месяца. Едва волоча ноги, Марта стала взбираться на холм.

У булочной Тисдэйла стоял запряженный фургон, в который грузили хлеб для развозки. Сын хозяина, Дэн Тисдэйл, бегал из пекарни на улицу и обратно с большой корзиной на плече, наполненной свежее испеченными хлебами. Когда Марта поравнялась с булочной, у нее дух захватило от вкусного аромата горячего, свежего хлеба, шедшего из подвала, где помещалась пекарня. Она инстинктивно остановилась. Она была близка к обмороку — так сильно ей захотелось хлеба. В эту минуту Дэн вышел на улицу с полной корзиной. Он увидел Марту, увидел и голодное выражение ее лица. Дэн побледнел: что-то похожее на ужас омрачило его глаза. Недолго думая, он схватил хлеб и бросил его Марте в руки.

Она ни слова не вымолвила, но от благодарности чуть не заплакала. Туман застилал ей глаза. Она продолжала свой путь вверх по Каупен-стрит и потом по Севастопольской улице. Марте всегда нравился Дэн, славный парень, который работал в шахте «Нептун», потому что это освобождало от военной службы, а с тех пор, как началась забастовка, помогал отцу развозить в фургоне хлеб. Он часто болтал с ее сыном Дэви.

Немного запыхавшись после крутого подъема, Марта добралась до дверей своего дома и уже взялась было за ручку.

— Знаете, у миссис Кинч заболела Элис, — остановила Марту Ханна Брэйс, ее ближайшая соседка.

Марта покачала головой: всю последнюю неделю дети на Террасах один за другим заболели воспалением легких.

— Передайте миссис Кинч, что я забегу к ней попозже, — сказала она и вошла к себе.

Все четверо — Роберт и трое сыновей — уже встали, оделись и собрались вокруг огня. Как и всегда, глаза Марты первым делом обратились к Сэмми. Он улыбнулся ей, не разжимая губ, подкупающей улыбкой, от которой его голубые глаза, глубоко посаженные под шишковатым лбом, превращались в едва видные щелочки. В улыбке Сэма сквозила беспредельная уверенность в себе. Он был старший сын и любимец Марты и, несмотря на свои девятнадцать лет, работал уже забойщиком в шахте «Нептун».

— Эге, гляди-ка! — Сэм подмигнул Дэвиду. — Гляди, какова у нас мамаша! Ходила, ходила до тех пор, пока не подцепила где-то целую буханку для тебя!

Дэви в своем углу кротко улыбнулся; это был худенький, тихий и бледный мальчик с серьезным и упрямым выражением продолговатого лица. Когда он наклонился к огню, на спине его резко выступили лопатки; большие темные глаза всегда глядели пытливо и строго, но сейчас их взгляд немного смягчился. Дэвиду было четырнадцать лет, он работал под землей в «Нептуне» на участке «Парадиз» в качестве коногона, по девяти часов в смену, в настоящее же время бастовал и был порядком голоден.

— Что вы на это скажете, ребята? — продолжал Сэм. — Дядя Сэмми тренируется для роли «живого скелета», теряет в весе шестьдесят кило за две недели, потому что выполняет «Советы полным дамам» и проходит курс лечения от тучности. А тут мамаша является домой с таким угощением! Тяжелая задача для Сэмми, не так ли, Гюи, парнишка?

Марта сдвинула темные брови:

— Скажи спасибо, что хоть это достала. — И принялась резать хлеб на ломти.

Все следили за ней как зачарованные. Даже Гюи, занятый починкой своих старых футбольных башмаков, и тот поднял глаза. А чтобы отвлечь мысли Гюи от футбола, требовалось немаловажное событие. Гюи был прямо-таки помешан на футболе. Он был «центральный нападающий» футбольной команды — это в семнадцать лет, заметьте! — и посвящал ей все то время, когда не был занят откаткой вагонеток в «Парадизе» в шахте «Нептун».

Гюи редко находил, что сказать. Он был молчалив, еще молчаливее, чем его отец. Он ничего не ответил Сэму, но тоже не отрывал глаз от хлеба.

— Ах, извини, мама. — Сэмми вскочил и взял из рук Марты тарелку с нарезанным хлебом. — И о чем я только думаю! Совсем забыл правила хорошего тона. «Разрешите мне...» — как сказал герцог в великолепном мундире тайнсайских гусар. — И Сэм поднес тарелку отцу.

Роберт взял один ломтик, посмотрел на него, потом на Марту:

— Это из попечительства?^[1] Если от них, то я не стану есть.

Их взгляды скрестились.

Он повторил упавшим голосом:

— Я тебя спрашиваю: откуда хлеб? Из попечительства или нет?

Марта все еще смотрела на него, думая о том, каким безумством с его стороны было ухлопать все их сбережения на эту забастовку. Она ответила:

— Нет.

— Господи, да не все ли равно? — с шумной веселостью вмешался Сэм. — Никто из нас не откажется его есть, я полагаю. — Он выдержал взгляд отца все с той же дерзкой веселостью. — Нечего так смотреть на меня, папа. Всему бывает конец. И я не заплачу, когда это кончится. Я хочу работать, а не сидеть сложа руки и дожидаться, пока мать добудет какую-нибудь жратву. — Он обратился к Дэви: — Прошу вас, граф, возьмите кусок этой мочалы! Не сомневайтесь! Уверяю вас, единственное, что может случиться, это то, что вас стошнит...

Марта вырвала тарелку из его рук:

— Я не люблю таких шуток, Сэмми! Нечего хаять хорошую пищу!

Она сердито хмурилась, говоря это, но все же дала Сэму самый большой ломоть, другой протянула Гюи, а себе оставила самый маленький.

Десять часов. Дэвид взял шапку, вышел из дому и побрел по неровно осевшей мостовой Инкерманской улицы. Все улицы шахтерского поселка в Слiskeйле носили названия тех мест Крыма, где были некогда одержаны славные победы. Главная улица — та, на которой жил Дэвид, — называлась Инкерманской, соседняя — Альминской, под ней шла Севастопольская, а в самом низу, где жил Джо, — Балаклавская. Дэвид направился к Джо, в надежде, что тот пойдет с ним погулять.

Ветер утих, и неожиданно выглянуло солнце. Обилие яркого света радовало мальчика, хотя он и слепил не привыкшие к нему глаза. Дэвид работал в шахте и зимой часто не видел солнца по многу дней подряд: когда он утром спускался в шахту, было еще темно, и в такой же темноте он вечером поднимался наверх.

А сегодня день, хотя и холодный, ярко сиял, наполняя все существо Дэвида какой-то необычайной радостью и смутными воспоминаниями о тех редких случаях, когда отец отправлялся удить рыбу на Уонсбек и брал его с собой. Мрак и грязь шахты оставались далеко позади, вокруг зеленел орешник и журчала чистая, прозрачная вода... «Гляди, гляди, папа!» — вскрикивал он, когда его восхищенный взгляд встречал целую полянку раннего первоцвета.

Дэвид свернул на Балаклавскую.

Подобно другим улицам шахтеров, она имела в длину всего каких-нибудь пятьсот ярдов. Здесь было царство почерневших от грязи и копоти каменных домов, испещренных безобразными белыми шрамами в тех местах, где были залиты известкой самые большие или свежие трещины. Четырехугольные трубы, полуразвалившиеся, покривившиеся, походили на пьяных. Длинный ряд крыш из-за оседания домов тянулся волнообразной линией, напоминая море в бурную погоду. Дворы были обнесены заборами, сооруженными из чего попало: сгнивших железнодорожных шпал, кольев, ржавого рифленого железа; за заборами навалены кучи пустой породы и шлака. В каждом дворе была общая уборная, и в каждой такой уборной стоял железный бак. Уборные были похожи на сторожевые будки между рядами домов, а в конце каждого ряда беспорядочно громоздились разные службы, выстроенные кое-как на неровной земле, рядом с голыми участками рельсовых путей. Шахта «Нептун № 17» была расположена приблизительно посередине, а за ней простирался кочковатый, весь изрезанный канавками унылый пустырь «Снук». Пустырь окаймляли старые выработки «Нептуна», заброшенные сотню лет назад. На «Снук» выходило зияющее устье старой шахты Скаппер-Флетс. На плоской равнине далеко вокруг не видно было ничего, кроме труб, отвалов, надшахтных копров — всего, что связано с копами. Развешанное на веревках белье с прямо-таки оскорбительной резкостью выделялось сочными голубыми и алыми тонами на унылом грязно-сером фоне этого места. Белье на веревках придавало всей картине какую-то своеобразную мрачную красоту.

Дэвиду все здесь было хорошо знакомо. Он и раньше находил в этом мало привлекательного, а теперь — меньше, чем когда бы то ни было. Над длинным рядом прижатых друг к другу унылых жилищ словно нависла атмосфера апатии и безнадежности. Несколько шахтеров — Боксер Лиминг, Кикер Хау, Боб Огль и другие, весь кружок завязанных картежников, — сидели на корточках у стены. Они теперь не играли в карты, потому что у них не было ни гроша медного, и сидели молча, просто так, от нечего делать. Боб Огль,

работавший в «Парадизе» в первой смене, кивком поздоровался с Дэви, поглаживая узкую голову своей гончей. Лиминг промолвил:

— Здорово, Дэви.

Дэвид ответил:

— Здорово, Боксер.

Остальные с интересом посматривали на Дэвида, так как он был сыном Роберта, зачинщика забастовки. Перед ними стоял бледный мальчик в грубошерстном костюме, из которого он давно вырос, с бумажным шарфом на шее, в тяжелых шахтерских башмаках на деревянной подошве (хорошие были заложены), с давно не стриженными волосами и большими рабочими руками, по-детски тонкими в запястье.

Он чувствовал на себе любопытные взгляды, но, спокойно выдержав их, с высоко поднятой головой зашагал к дому № 19, где жил Джо. На воротах этого дома была вкось и вкривь намалевана вывеска: «Агент по продаже велосипедов. Похоронное бюро. Даются обеды». Дэвид вошел.

Джо и его отец, Чарли Гоулен, завтракали: на деревянном некрашеном столе стояли горшок, полный холодного паштета, большой коричневый чайник, открытая жестянка со сгущенным молоком и неровно початый каравай хлеба. Беспорядок на столе был невообразимый. Такой же хаос царил во всей квартире из двух комнат — грязь, куча всяких съестных припасов, треск огня, разбросанная повсюду одежда, немытая посуда, запах неопрятного жилья, пива, сала, пота — и во всем неряшливый, убогий комфорт.

— Алло, мальчик, как поживаешь?

Чарли Гоулен сидел в ночной сорочке, заправленной в брюки с незастегнутыми, свисавшими на толстый живот подтяжками, в ковровых домашних туфлях на босу ногу. Отправив в свой большой рот громадный кусок мяса, он помахал могучим красным кулаком, в котором держал нож, и приветливо закивал Дэвиду. Чарли был неизменно приветлив, всегда и со всеми; да, этот Большой Чарли, контролер-весовщик в «Нептуне», был, что называется, душа человек. Он ладил с рабочими, ладил и с Баррасом. Он был на все руки мастер — сам хозяйничал, так как жена его умерла три года тому назад, не прочь был тайком поохотиться на кроликов или половить лососей там, где это было запрещено.

Дэвид сидел, наблюдая, как ели Джо и Чарли. А ели они со вкусом, с безмерным аппетитом, молодые челюсти Джо методически жевали. Причмокивая жирными губами, Чарли выгребал ножом застывший соус из горшка с паштетом. Дэвид невольно облизнулся, рот его наполнился слюной. Вдруг, когда они уже почти кончили завтрак, Чарли, словно осененный внезапной догадкой, перестал на минуту орудовать ножом в горшке:

— Может быть, и ты, паренек, не прочь поскрести в горшке?

Дэвид отрицательно покачал головой: что-то заставило его отказаться. Он усмехнулся:

— Я уже завтракал.

— Ах так! Ну что ж, раз ты уже перекусил... — Маленькие глазки Чарли лукаво поблескивали на широком красном лице. Он покончил с паштетом. — А что думает твой отец теперь? Ведь похоже на то, что дело наше лопнуло?

— Не знаю.

Чарли облизал нож и удовлетворенно вздохнул:

— Да, натерпелись мы горя... Я с самого начала был против... и Геддон был против. Никто из нас не хотел этого. Поднимать историю из-за кожанов^[2] и полпенни прибавки на тонну! Говорил я, что из этого ничего не выйдет.

Дэвид посмотрел на Чарли. Чарли был весовщиком от рабочих, служащим местной организации Союза горняков и состоял в приятельских отношениях с Геддоном, представителем Союза в Тайнкасле. И Чарли отлично знал, что дело тут вовсе не в кожаных и не в прибавке полпенни на тонну угля.

Дэвид сказал серьезно:

— В шахтах Скаппер-Флетс очень много воды.

— Воды! — Чарли улыбнулся снисходительной улыбкой всезнающего человека. Он работал у выхода шахты, проверяя вес поднятых наверх вагонеток с углем, в шахту ему никогда не приходилось спускаться, поэтому он был против забастовки и разыгрывал авторитетного специалиста. — «Парадиз» всегда был мокрым местом. Там вода стояла подолгу. И Скаппер-Флетс, я думаю, не хуже остальных шахт. Не такой человек твой отец, чтобы испугаться лишней капли воды, ведь правда?

Дэвид, не глядя, чувствовал, что Чарли ухмыляется, и негодование его росло. Он сказал сдержанно:

— Отец работает внизу вот уже двадцать пять лет, так что вряд ли он боится воды.

— Отлично, отлично, я так и знал, что ты это скажешь. Стой крепко за отца. Если не ты, то кто же за него постоит? Я тебя за это ничуть не осуждаю. Ты парень сметливый.

Чарли громко рыгнул, уселся на свое место у огня и принялся набивать почерневшую трубку, зевая и потягиваясь.

Джо и Дэви вышли на улицу.

— Ему-то не приходилось спускаться в «Парадиз»! — непочтительно заметил Джо, как только дверь за ними захлопнулась. — Старый черт! Ему бы очень полезно было поработать внизу в воде, как работаю я.

— Не в одной только воде тут дело, Джо, — сказал убежденно Дэвид. — Знаешь, мой отец говорит...

— Знаю, знаю! Мне до смерти надоело все это слышать, и всем остальным тоже, Дэви. Твой отец знает Скаппер-Флетс, а думает, что знает все штреки.

Дэвид горячо возразил:

— Поверь, Джо, ему известно очень многое. Не для потехи же он все это затеял!

— Он-то нет, а вот некоторые другие... Осточертело им работать в воде, вот они и подумали, что хорошо будет отдохнуть. Ну а теперь, после того как они этим треклятым отдыхом вволю натешились, они рады на все пойти, только бы снова начать работать, хотя бы шахты доверху были залиты водой.

— Что ж, пускай выходят на работу.

Джо сказал хмуро:

— Они и выйдут, можешь быть спокоен. Вот подожди, в три часа будет собрание, тогда услышишь. И не становись, пожалуйста, на дыбы! Меня все это бесит не меньше, чем тебя. Опротивела мне эта шахта проклятая! При первом удобном случае улизну отсюда, — я вовсе не намерен торчать здесь до конца своих дней! Я хочу обзавестись монетой и пожить в свое удовольствие.

Дэвид молчал, расстроенный и возмущенный, чувствуя, что все в жизни против него. Ему тоже хотелось бы избавиться от «Нептуна», но не таким путем, каким хотел сделать это Джо. Он вспомнил, как Джо убежал когда-то, как его, плачущего, привел обратно Роддэм, полицейский сержант, а потом отец задал ему здоровую порку.

Мальчишки молча шагали рядом. Джо, немного рисуясь, на ходу раскачивался всем телом,

засунув руки в карманы. Это был хорошо сложенный подросток, двумя годами старше Дэвида, с квадратными плечами, прямой спиной, густой шапкой черных курчавых волос и небольшими живыми карими глазами. Джо был очень красив и знал это. Во взгляде его светилась самоуверенность, даже в лихо заломленной кепке чувствовались задор и тщеславие. Помолчав некоторое время, он продолжал:

— Когда хочешь жить в свое удовольствие, надо иметь деньги. А разве здесь, на шахтах, скопишь что-нибудь? Черта с два! На большие деньги здесь рассчитывать нечего. Ну а я хочу жить весело, мне нужно много денег. Пойду искать в других местах. Тебе-то хорошо, ты, может быть, попадешь в Тайнкасл: твой отец хочет, чтобы ты поступил в колледж... Вот тоже одна из его фантазий!.. А мне придется самому о себе позаботиться. И позабочусь, вот увидишь! Надо только одно запомнить: занимай место, пока его не занял другой!

Джо вдруг оборвал свою хвастливую болтовню и дружески ударил Дэви по плечу, улыбаясь веселой и ласковой улыбкой. Когда Джо хотел, он умел быть веселым и приятным, как никто, — его веселость согревала душу, красивые карие глаза излучали доброту, и он казался самым славным из всех славных малых.

— Пойдем к лодке, Дэви, покатаемся у берега, потом отъедем подальше — авось попадется что-нибудь.

Они прошли уже Кэй-стрит, вышли к берегу, перелезли через дамбу и очутились на твердом песке. За ними тянулась цепь высоких дюн, поросших редкой жесткой травой и осокой, покрытой налетом соли. Дэвид любил дюны. Летом, по субботам, когда шахтеры рано поднимались наверх из «Нептуна» и отец отправлялся с товарищами в трактир «Привет», Дэвид забирался на дюны и здесь в одиночестве, среди осоки, слушал пение жаворонка, бросив свою книгу и ища глазами крошечное пятнышко — там, высоко в ярко-голубом небе. И сейчас его тянуло лечь на песок. Голова опять кружилась, толстый ломоть свежего хлеба, проглоченный утром с такой жадностью, свинцом лежал у него в желудке. А Джо шел быстро и был уже у мола.

Взобравшись на мол, они очутились в гавани. Здесь в тихой пенившейся воде несколько мальчиков с Террас собирали уголь. Привязав к шесту старое ведро, в котором были пробиты дырки, они вылавливали им куски угля, упавшие в воду при погрузке барж еще в то время, когда в порту работали. Лишившись угольного пайка, который рабочие получали из шахты два раза в месяц, они рылись здесь в грязи в поисках топлива, о котором прежде никто бы и не вспомнил. Джо смотрел на них с тайным пренебрежением. Он стоял у воды, широко расставив ноги и засунув руки в карманы брюк. Джо испытывал презрение к этим беднякам. Погреб его отца был набит отличным углем, украденным из шахты: Джо сам воровал его, выбирая лучший из кучи. А желудок его был всегда набит пищей, хорошей пищей, — об этом заботился Чарли, его отец. И все потому, что они с отцом знали, как нужно действовать: брать, добывать все, а не стоять вот так в воде, дрожа, умирая с голоду, роясь в грязи с робкой надеждой — авось что-нибудь сжалится над тобой и прыгнет к тебе в ведро.

— А, Джо, здорово! — заискивающе окликнул его Нед Софтли, слабоумный откатчик из «Парадиза». Его длинный нос покраснел и все тщедушное недоразвитое тело судорожно дрожало от холода. Он бессмысленно посмеивался. — Нет ли окурочка, Джо, голубчик? Смерть покурить хочется.

— Будь я проклят, Нед, дружище... — Джо мгновенно проявил сочувствие и великолепный размах. — Будь я проклят, если это у меня не последний! — Он вытащил торчавший у него за ухом окуроч, огорченно посмотрел на него и зажег его с самым

дружеским сожалением. Но когда Нед, взяв окурок, отошел, Джо ухмыльнулся: конечно, у него в кармане лежала целая пачка папирос «Вудбайн». Но неужели же рассказывать об этом Неду? Боже сохрани! Все еще усмехаясь, Джо посмотрел на Дэвида, как вдруг чей-то вопль заставил его быстро обернуться.

Это вопил Нед, громко протестуя. Он набрал полный или почти полный мешок угля, проработав три часа на пронизывающем ветру, и только что собрался взвалить мешок на спину и нести домой, как Джейк Уикс опередил его. Джейк, здоровенный неотесанный малый лет семнадцати, преспокойно дожидался подходящего момента, чтобы присвоить добычу Неда. Он подхватил мешок и, с вызовом посмотрев на остальных, хладнокровно, походкой гуляющего человека, зашагал из гавани. В толпе мальчишек раздался взрыв хохота. Ну и потеха! Джейк стащил уголь Софтли и идет себе с ним как ни в чем не бывало, а Нед ревет и визжит ему вслед как сумасшедший! Настоящая комедия! Джо хохотал громче всех.

Не смеялся только Дэвид. В лице его не было ни кровинки.

— Джейк не смеет брать этого угля, — сказал он тихо. — Это уголь Софтли. Софтли его собирал.

— Хотел бы я видеть, кто ему помешает! — Джо захлебывался от смеха. — О господи! Нет, ты только посмотри на рожу Неда, скорее посмотри!..

Юный Уикс шествовал по дамбе, легко неся мешок, а за ним с плачем бежал Софтли, сопровождаемый толпой оборванцев.

— Это мой уголь, — хныкал Нед, и слезы текли по его лицу. — Я столько навозился тут, пока собрал его, ведь маме нечем топить...

Дэвид сжал кулаки и шагнул наперерез Уиксу. Тот сразу остановился.

— Эй, — сказал он. — А тебе чего?

— Это уголь Неда, — сказал Дэвид сквозь стиснутые зубы. — Ты не смеешь его отнимать. Это нечестно. Несправедливо.

— Черт возьми! — пробурчал Джейк растерянно. — А кто же это мне запретит?

— Я.

В толпе больше никто не смеялся. Джейк не торопясь опустил мешок на землю:

— Ты?

Дэвид утвердительно кивнул головой. Нервы его были до того напряжены, что он не мог произнести ни слова. В нем кипело возмущение несправедливым поступком Джейка. Уикс был уже почти взрослый, курил, ругался и пил водку, как мужчина. Он был на целый фут выше Дэви и на полпуда тяжелее. Но Дэвида это не остановило, он в эту минуту помнил только одно: надо помешать Уиксу обидеть Неда Софтли.

Уикс вытянул перед собой кулаки, один над другим.

— Ну-ка ударь! — ехидно предложил он. Это был традиционный вызов на бой.

Дэви одним взглядом охватил одутловатое, прыщавое лицо Джейка, увенчанное копной светлых, как лен, волос. Он видел как-то особенно отчетливо и ясно и угри на нечистой коже Джейка, и крошечный бугорок на его левом веке. Затем он быстрым, как молния, движением сбил вниз кулаки Джейка, а правой рукой нанес ему сильный удар в нос.

Замечательный удар! Нос Джейка заметно сплюснулся, из него хлынула кровь. Толпа взревела, и трепет неистового и радостного возбуждения пронизал Дэвида.

Джейк отступил, мотая головой, как собака, потом яростно бросился вперед. Он размахивал руками, словно молотя цепом.

В эту минуту из обступившей их толпы раздался предостерегающий крик:

— Берегись, ребята, Скорбящий идет!

Дэвид, отвлеченный этим криком, повернул голову, и кулак Джейка угодил ему прямо в висок.

Сразу же все стало как-то странно уплывать назад, все закружилось перед его глазами, на миг ему почудилось, будто он спускается в шахту, — так внезапно надвинулась на него темнота и зазвенело в ушах. Потом он лишился сознания. Увидев, что он упал, мальчишки поспешно разбежались. Даже Нед Софтли торопливо ушел, не забыв захватить свой уголь.

Скорбящий тем временем подошел ближе. Он прогуливался по берегу, наблюдая, как волны тихо набегали на песок и отбегали назад. Иисус Скорбящий очень любил море. Он каждый год брал в «Нептуне» отпуск на десять дней и проводил его в Уитли-Бэй, мирно бродя взад и вперед по набережной с двумя щитами, на которых начертан был его любимый текст: «Иисус скорбел о грехах мира». Эти же слова были выведены золотыми буквами на фасаде его домика, и потому-то, хотя настоящее имя этого человека было Клем Дикери, его все звали Иисус Скорбящий или просто Скорбящий. Скорбящий работал в копях, но жил не на Террасах. Жена его Сюзен пекла пироги и торговала ими в маленькой лавчонке в конце Лам-стрит, а над лавчонкой помещалась их квартира. Сюзен предпочитала другой, более грозный текст Священного Писания: «Будь готов предстать перед Господом». Этот текст был напечатан на всех бумажных мешочках, в которых она отпускала свои изделия, и отсюда в Слискейле пошла поговорка: «Ешь пироги Сюзен Дикери и готовься предстать перед Господом». Но пироги были отличные. Дэвид их любил. Любил он и Клема Дикери. Скорбящий был тихий, безобидный фанатик. И он, по крайней мере, был человеком искренним.

Когда Дэвид очнулся и открыл затуманенные глаза, Скорбящий стоял, наклонясь над ним, похлопывал его по ладоням и глядел на него с огорчением и беспокойством.

— Теперь все прошло, — сказал Дэвид, с трудом приподнявшись на локте.

Скорбящий проявил замечательную выдержку, ни словом не упомянув о драке. Вместо этого он спросил:

— Ты когда в последний раз ел?

— Сегодня утром. Я завтракал.

— Встать можешь?

Дэвид поднялся, держась за Клема. Он пошатывался, но пытался улыбкой скрыть слабость.

Скорбящий мрачно смотрел на него. Он всегда говорил и действовал напрямик.

— Ты ослабел от голода, — сказал он. — Пойдем ко мне.

Поддерживая мальчика, он медленно вел его по песку через дюны и привел в свой дом на Лам-стрит.

На кухне у Дикери Дэвида усадили за стол. Здесь Клем устраивал свои «кухонные собрания». На стенах ярчайшими красками пылали аллегорические изображения «Страшного суда», «Воскресения мертвых», «Широкой и узкой стези». На этих картинах было множество парящих ангелов, бесполох, светлокудрых, в белоснежных одеяниях, они трубили в золотые трубы. Ангелов окружало ослепительное сияние. А ниже царил мрак — там, среди разрушенных коринфских колонн, выли исчадия тьмы, подгоняя толпы грешников, трепетавших на краю бездны.

Над камином были развешаны на веревочках сухие травы и морские водоросли. Клем знал все лекарственные растения и во время цветения усердно собирал их под изгородями и

среди скал. И сейчас он стоял у огня, заваривая что-то вроде ромашки в фаянсовом чайнике. Заварив, налил полную чашку и поставил ее перед Дэвидом, затем, не говоря ни слова, вышел из кухни.

Дэвид выпил отвар. Горькая, но ароматная и очень горячая жидкость согрела его, подкрепила и успокоила. Он забыл о драке и почувствовал, что голоден. Тут дверь отворилась, снова вошел Скорбящий и с ним его жена. Она до странности походила на своего мужа, эта маленькая опрятная женщина, всегда в черном, тихая, неторопливая и с таким же, как у Клема, спокойно-сосредоточенным выражением лица. Молча поставила она перед Дэви тарелку с двумя только что испеченными пирожками, потом из синего эмалированного кувшинчика облила каждый пирожок горячим соусом.

— Ешь не сразу, а помаленьку, — сказала она ровным голосом и, отойдя, стала рядом с мужем. Оба наблюдали за мальчиком, который после минутного колебания принялся за еду.

Пирожки были восхитительны, подливка жирная, вкусная. Дэвид съел один пирожок до крошки, потом, случайно подняв глаза, увидел, что муж и жена все еще смотрят на него с серьезным выражением. Скорбящий торжественно процитировал вполголоса текст Священного Писания: «Я напитаю вас и детей ваших. И Он утешал их и ласково говорил с ними».

Дэвид пытался улыбкой выразить благодарность, но от неожиданности ли этой проявленной к нему доброты или от чего другого — у него вдруг перехватило горло. Его это злило, но он ничего не мог с собой поделать. Им овладело мучительное волнение при воспоминании о том, что он перенес, что все они перенесли за последние три месяца. Ужас всего этого внезапно встал перед ним. Он вспомнил, как они урезывали себя во всем, закладывали вещи, вспомнил скрытую горечь в отношениях между родителями, раздражительность матери, упорство отца... Ему было только четырнадцать лет. И за весь вчерашний день он съел одну репу, которую взял на ферме Лиддля. Мир вокруг был богат и прекрасен, а он, как дикое животное, забрался на поле и украл репу, чтобы утолить голод.

Дэвид опустил голову на худенькую руку. В нем росла неожиданная страстная потребность изменить все это, сделать что-нибудь, что помогло бы людям, заживило их раны. Он *должен* сделать что-нибудь! И сделает. Слеза покатилась по щеке и капнула в подливку. На стенах ангелы трубили в трубы. Дэвид сконфуженно высморкался.

Половина второго. В «Холме» кончают завтракать. Артур сидит за столом, держась очень прямо, его голые колени скрыты под белой скатертью, а башмаками он едва достает до пушистого темно-красного ковра. Пока завтракали, он все время смотрел на отца, не отрывая от него любящих, встревоженных глаз. Атмосфера скрытого напряжения, предчувствие какого-то кризиса пугали, почти парализовали Артура. И, как всегда в минуты сильного волнения, он потерял аппетит, самый вид еды вызывал у него тошноту. Артур слышал, что сегодня собрание шахтеров, рабочих отца, которым полагалось честно и преданно работать в его копях. Он знал, что все зависит от этого собрания, что на нем решится вопрос, выйдут ли шахтеры на работу или будут продолжать свою ужасную забастовку. Эта мысль вызывала у Артура легкий трепет беспокойства. В глазах его светилась горячая преданность отцу.

Волнение Артура объяснялось еще и тем, что он ждал от отца приглашения поехать с ним в Тайнкасл. Он ожидал этого с десяти часов утра, с той минуты, когда услышал, что Бартли приказано запрягать шарабан. Но обычного приглашения не последовало. Отец едет в Тайнкасл, едет к Тоддам, а его, Артура, не берет! С этим было очень трудно примириться.

За столом шел спокойный разговор, направляемый отцом Артура. Такого рода мирные беседы велись здесь все время, пока шла забастовка, — и всегда на самые нейтральные темы: о предстоящей постановке «Мессии» в Союзе певчих, о том, помогает ли матери новое лекарство, о том, как хорошо растут цветы на бабушкиной могилке, — и всегда в спокойном, очень спокойном тоне. Ричард Баррас был вообще человек уравновешенный. Во всем его поведении сказывалась непоколебимая выдержка. Он сидел во главе стола, сурово-безмятежный, словно эти три месяца забастовки в его шахте «Нептун» были совершеннейшей чепухой, — сидел в своем большом кресле, чопорно выпрямившись (вот почему Артур тоже старался держаться прямо), и ел сыр, сельдерей из собственных парников и пудинг. Простое меню. Весь завтрак состоял из самых простых блюд, — этого требовал Баррас. Он любил придерживаться известного режима: тонкие ломтики говядины, холодная ветчина, баранье филе — все в свое время. Он терпеть не мог пышности и богатой сервировки. Он это запрещал у себя в доме. Ел он как-то рассеянно, сжимая узкие красные губы и грызя крепкими зубами сельдерей. Это был человек среднего роста, но с широкой грудью, могучими плечами и большими руками. В нем чувствовалась большая физическая энергия. У него было румяное скуластое лицо и мускулистая шея, такая короткая, что казалось, голова выросла прямо из груди. Седоватые волосы были коротко острижены, глаза с красивым разрезом глядели пронзительно. Это был тип северянина, несколько суровый и тяжеловесный. Человек твердых убеждений и твердой веры, либерал, который строго соблюдал воскресенье, он ввел у себя в доме общую вечернюю молитву, читал членам семьи вслух Библию, часто доводя Артура до слез, и не боялся признаться, что в юности сочинял гимны. Вообще у Барраса хватило бы смелости признаться в чем угодно. Когда он вот так, как сейчас, сидел за столом, выделяясь на желтом лакированном фоне большого американского органа, который он из любви к музыке Генделя поставил в столовой, истратив на него большие деньги, вся его фигура, казалось, излучала присущую ему внутреннюю цельность. Артур это инстинктивно чувствовал. Он любил отца. Для Артура отец был совершенством, богом.

— Да ну же, Артур, ешь пудинг, милый!

Услышав мягкий упрек тети Кэрри, Артур в замешательстве посмотрел на стоявшую перед ним тарелку. Пудинг — из остатков пирога, из подгорелых кусков, — он терпеть его не мог, но сделал над собой усилие и принялся есть, в надежде, что отец заметит это и похвалит его.

Хильда уже кончила завтракать и смотрела куда-то в пространство; лицо ее, как всегда, было угрюмо. А Грэйс, улыбающаяся, простодушная, казалось, чему-то тайно радовалась про себя.

— Вы вернетесь к чаю, Ричард? — почтительно спросила тетя Кэрри.

— Да, к пяти часам, — был сдержанный, лаконичный ответ.

— Хорошо, Ричард.

— Вы бы спросили у Гарриэт, нет ли у нее каких-нибудь поручений.

— Сейчас, Ричард.

Тетя Кэрри наклонила голову. Она всегда выказывала стремительную готовность повиноваться Ричарду. Голова у нее обычно наклонена была немного набок, в знак покорности, покорности всем и всему, главным же образом — своей судьбе.

Тетушка Кэролайн Уондлес знала свое место. Она никогда ни на что не претендовала, несмотря на то что происходила из хорошей нортумберлендской семьи, одной из знатных фамилий графства. Не злоупотребляла она и тем, что была сестрой жены Ричарда. Она присматривала за детьми, занималась с ними каждое утро в классной комнате, сидела у их постели, когда они заболели, неумолимо ухаживала за Гарриэт, готовила всякие вкусные вещи, выращивала цветы, штопала чулки, вязала теплые шарфы, собирала, считала и записывала грязное белье со всего дома, — и все это с видом кроткой услужливости. Пять лет тому назад, когда Гарриэт слегла, тетя Кэрри приехала к Баррасам в их усадьбу «Холм», чтобы помогать по хозяйству, как приезжала всегда на роды Гарриэт. Эта начинавшая уже полнеть сорокалетняя дама с бледным пухлым лицом, с морщиной заботы на лбу, с небрежно заколотыми волосами неопределенного цвета, умела быть полезной. Ей, вероятно, неизмеримое число раз представлялась возможность закрепить за собой известные права в этом доме, но она никогда не забывала о своей зависимости и усвоила себе некоторые привычки человека, занимающего подчиненное положение. В спальне у себя она прятала чайник и запас печенья; пока другие беседовали, она неслышно ускользала из комнаты, как будто вдруг решив, что она здесь лишняя; при других она обращалась к слугам с подчеркнутой официальной вежливостью, наедине же разговаривала с ними приветливо, даже фамильярно, с заискивающей доброжелательностью: «Хотите, Энн, я вам подарю эту блузку? Смотрите, дитя мое, она еще совсем мало ношена...»

Тетя Кэрри имела немного денег в процентных бумагах, они приносили ей около ста фунтов годового дохода. Все ее платья были серого цвета, одного и того же оттенка. Она слегка прихрамывала — следствие какого-то несчастного случая в юности, — и глухая молва, без всяких к тому оснований, утверждала, будто в ту же пору ее жизни с ней дурно поступил один господин. Тетя Кэрри всю жизнь принимала каждый вечер горячую ванну — это было ее любимым удовольствием. Но она всегда ужасно боялась, как бы Ричарду не понадобилась ванная комната как раз тогда, когда она ею пользовалась; иногда это мучило ее даже во сне, и после такого ночного кошмара она просыпалась бледная, вся в поту, убежденная, что Ричард *видел* ее в ванне.

Баррас обвел взглядом стол. Все кончили завтракать.

— Не съешь ли ты бисквит, Артур? — спросил он настойчиво, положив руку на серебряную крышку стеклянной сухарницы.

— Нет, папа, спасибо. — Артур в волнении проглотил слюну.

Ричард налил себе воды и уверенной рукой поднял стакан. Вода, казалось, стала еще прозрачнее, еще холоднее оттого, что он подержал стакан в руке. Он медленно выпил ее.

Молчание. Но вот наконец Ричард поднялся и вышел из комнаты.

Артур чуть не заплакал. Отчего, отчего отец не берет его с собой в Тайнкасл именно сегодня, когда ему так хочется быть с отцом? Почему он не хочет взять его с собой к Тоддам? Отец, видимо, едет к Адаму Тодду, горному инженеру, его старому другу, не в гости, а по делу. Так что же из этого? Он все-таки мог бы взять его с собой, — ему так хотелось поиграть с Гетти. С тяжелым сердцем торчал Артур в передней (которую тетя Кэрри называла вестибюль), рассматривая узор облицовки из черных и белых плиток, глаза на любимые картины отца. Несмотря ни на что, он все еще не терял надежды. Хильда с книгой прошла наверх в свою комнату. Артур не обратил на нее внимания. Они с Хильдой не очень любили друг друга: она была слишком резка, неразговорчива, нелепо вспыльчива; казалось, в душе она постоянно борется с чем-то невидимым. Ей шел только восемнадцатый год. Три месяца назад, перед самым началом забастовки, она остригла волосы. Это еще больше оттолкнуло от нее Артура. Он замечал, что Хильда никому не нравится: она некрасива, строга, и вид у нее такой, словно она презирает всех и все. Кожа у нее смуглая, и от нее никогда не пахнет духами.

Артур все стоял в передней. Из классной сошла вниз Грэйс с яблоком в руке.

— Пойдем, Артур, покормим Боксера, — попросила она. — Пойдем со мной, ну пожалуйста!

Артур смотрел на одиннадцатилетнюю Грэйс сверху вниз, — она была на год моложе его и на целый фут ниже! Он завидовал ее постоянной веселости. Грэйс обладала счастливейшим характером. Это была хорошенькая, милая, но ужасно неряшливая девочка. Гребенка, косо торчавшая в ее мягких светлых волосах, придавала личику комично-удивленное выражение; в больших голубых глазах светилось наивное простодушие. Даже Хильда любила Грэйс. Артур видел однажды, как она после страшнейшей вспышки гнева принялась вдруг с бурной нежностью тискать Грэйс в объятиях.

Артур раздумывал: идти или не идти ему с Грэйс? Он никак не мог решить. Для него всегда было мучением решать что-нибудь. В конце концов он отрицательно покачал головой.

— Ты иди, а я не пойду, — заявил он мрачно. — Я расстроен из-за забастовки.

— Неужели, Артур? — спросила Грэйс с удивлением.

Он утвердительно кивнул головой. Ему стало еще грустнее при мысли, что он лишает себя удовольствия видеть, как пони будет жевать яблоко.

Грэйс ушла, а он все стоял, прислушиваясь. Наконец отец сошел вниз с черным кожаным портфелем под мышкой. Не обращая внимания на Артура, он направился прямо к ожидавшему его экипажу, сел и уехал.

Артур был глубоко обижен, подавлен, убит горем. Не оттого, что ему не придется побывать в Тайнкасле и погостить у Тоддов. Конечно, Гетти — милая девочка, ему нравились ее длинные шелковистые косы, веселый смех, теплота ее рук, когда она порой обнимала его за шею, прося купить ей шоколадного крема на тот шестипенсовик, что он получал каждую субботу. О да, он любит Гетти и, наверно, женится на ней, когда вырастет. Он любил и ее брата Алана, и «старину Тодда» (так Алан зовет своего отца) с колючими, всегда

испачканными табаком усами, с желтыми точками в глазах и таким странным запахом гвоздичного масла и еще чего-то. Но сейчас его огорчало вовсе не то, что он их не увидит, — его огорчало, мучило, убивало пренебрежение со стороны родного отца.

Может, он, Артур, и не заслуживает внимания. Пожалуй, в этом-то все дело. Он так мал для своих лет и, должно быть, не совсем здоров, — тетя Кэрри несколько раз при нем говорила: «Артур такой хрупкий». Хильда училась в школе в Хэррогейте, и Грэйс скоро туда же поступит. А вот его, Артура, не пускают в школу! И у него так мало товарищей. Просто удивительно, как мало людей бывает у них в «Холме». Артур с болезненной остротой сознавал, что он дикарь, что он одинок и слишком впечатлителен. Он легко краснел и из-за этого часто готов был от стыда сквозь землю провалиться. Он всей душой жаждал, чтобы поскорее наступило то время, когда он начнет работать вместе с отцом в «Нептуне». В шестнадцать лет он начнет знакомиться с делом, потом несколько лет учения, чтобы получить аттестат, — и наконец придет великий день, когда он станет компаньоном отца. Да, для этого стоит жить!

Слезы жгли ему глаза, и, выйдя из дому, он долго слонялся без цели. Парк усадьбы лежал перед ним — красивый газон с кустами золотистого ракитника, а дальше луг, отлого спускавшийся к лесистой долине. Деревья двумя рядами опоясывали усадьбу со всех сторон, скрывая все, что могло бы испортить вид. Усадьба была расположена совсем близко от Слискейла, на холме, — потому-то ее так и называли. Но можно было подумать, что сотня миль отделяет ее от труб и шахт.

Дом был прекрасный — каменный, с прямоугольным фасадом, с портиком в стиле Георгианской эпохи, с более поздней пристройкой позади и обширными оранжереями. Весь фасад дома был увит аккуратно подстриженным плющом. Здесь ничто не бросалось в глаза — Ричард так ненавидел вычурность! — но повсюду царил безупречный порядок: трава на лужайке подстрижена, края ровные, будто ножом срезанные, и ни единая сорная травка не омрачала великолепия длинной аллеи. Повсюду преобладала белая краска, наилучшая белая краска; ею были выкрашены ворота, ограды, оконные рамы и деревянная обшивка парников. Так нравилось Ричарду. Он держал одного только работника — Бартли, но в «Нептуне» всегда находилось достаточно охотников пойти в усадьбу «поработать у хозяина».

Артур окинул мрачным взглядом открывшуюся перед ним красивую картину. Не пойти ли ему к Грэйс? Сначала он решил идти, потом подумал: «Нет». Всеми оставленный, безутешный, он ни на что не мог решиться. Потом, как всегда, перестал об этом думать и, словно спасаясь от необходимости принять решение, побрел обратно в переднюю, рассеянно оглядел висевшие на стенах картины, которые отец его так ценил. Каждый год отец покупал какую-нибудь картину, а то и две, через Винцента, крупного торговца предметами искусства в Тайнкасле, и тратил на это, по мнению Артура, подслушавшего обрывок разговора, баснословные суммы. Но Артур одобрял это, как одобрял все, что делал отец, и точно так же одобрял он его вкус. Да это и в самом деле красивые картины: большие, чудесно раскрашенные полотна Стона, Орчэрдсона, Уоттса, Лейтона, Холмэна Ханта. Особенно много картин Холмэна Ханта. Артуру все эти имена были знакомы. Он слышал, как отец говорил, что все они — будущие великие мастера. Особенно привлекала Артура одна картина — «Влюбленные в саду», в ней было столько очарования, она вызывала непонятную боль, что-то похожее на томление глубоко внутри.

Артур, хмурясь, ходил по передней, разглядывая все, что попадалось ему на глаза. Он пытался думать, разобраться во всем, что касалось этой ужасной забастовки, объяснить себе

странную озабоченность отца и его отъезд к Тодду. Из передней он повернул в коридор, а пройдя его, вошел в уборную и заперся там. Наконец-то он в надежном укрытии.

Уборная была его обычным убежищем: здесь никто его не тревожил, здесь он переживал свои горести или предавался мечтам. Очень хорошо было мечтать, сидя здесь. Уборная чем-то напоминала ему церковь, придел собора, потому что это была высокая комната, в ней было прохладно, как в церкви, глянцевитые обои разрисованы готическими арками. Здесь Артур испытывал такие же ощущения, как тогда, когда смотрел на картину «Влюбленные в саду».

Он опустил продолговатую лакированную крышку и уселся, упершись локтями в колени и обхватив голову руками. Им овладел внезапный приступ напряженного тоскливого беспокойства. Изнемогая от жажды утешения, он крепко зажмурил глаза. В горячем порыве, как это с ним часто бывало, он стал молиться: «Боже, сделай, чтобы сегодня закончилась забастовка, чтобы все рабочие опять стали работать для папы, чтобы они поняли, что не правы. Боже, Ты ведь знаешь, какой папа хороший, я люблю его и Тебя люблю. Так сделай же, чтобы рабочие поступали так же справедливо, как он, чтобы больше не бастовали, и сделай, чтобы я поскорее вырос и вместе с папой управлял „Нептуном“. Во имя Отца и Сына, аминь!»

Вернувшись домой к пяти часам, Ричард Баррас застал ожидавших его Армстронга и Гудспета. Когда он вошел в дом, слегка хмурясь, неторопливый, холодный и решительный, внося с собой дух присущей ему суровой энергии, он застал их обоих в передней: они сидели рядышком на стульях, в молчании уставившись на пол. Это тетя Кэрри, в волнении и нерешительности, усадила их здесь. Джорджа Армстронга, как зрителя шахты «Нептун», можно было бы, конечно, пустить в курительную комнату. Но Гудспет только помощник зрителя, он раньше был простым штейгером, а до того — десятником по безопасности, к тому же он пришел прямо из шахты, в грязных сапогах, мокрых коротких штанах, в кожаной кепке и с палкой. Немыслимо было пустить его в комнату Ричарда, где он непременно наследит. Словом, тетя Кэрри была в тяжелом затруднении. Приняв наконец компромиссное решение, она оставила обоих в вестибюле.

Увидев этих двух людей, Ричард ничуть не изменил выражения лица. Их приход не был для него неожиданным. Все же сквозь холодную, непоколебимую важность на миг пробилось что-то неуловимое, слабый огонек мелькнул в глазах и тотчас потух. Армстронг и Гудспет встали. Короткое молчание.

— Ну что? — спросил Ричард.

Армстронг взволнованно закивал головой:

— Кончилось, слава богу!

Ричард выслушал это сообщение и глазом не моргнув; ему, казалось, была крайне неприятна легкая дрожь в голосе Армстронга. Он стоял чопорный, замкнутый, безучастный, но наконец шевельнулся, сделал приглашающий жест и повел посетителей в столовую. Здесь он подошел к буфету, огромному дубовому голландскому сооружению во вкусе барокко, на котором были вырезаны головки смеющихся детей, налил два стаканчика виски, а себе, позвонив, приказал подать чаю. Энн тотчас принесла чашку чая на подносе.

Все трое пили стоя. Гудспет одним привычным глотком выпил свое виски неразбавленным, Армстронг смешал его с большой порцией содовой и пил торопливыми, нервными глотками. Джордж Армстронг был человек в высшей степени нервный — постоянно волновался, огорчался из-за пустяков, легко выходил из себя и ругал рабочих. Он был чрезвычайно работоспособен только благодаря постоянному нервному напряжению, с которым работал. Этот человек среднего роста, с облысевшей уже макушкой, с изможденным лицом и мешками под глазами, обладал прекрасным баритоном и нередко пел на масонских концертах. Несмотря на свою вспыльчивость, он был очень популярен в городе. Армстронг был женат, имел пятерых детей и втайне ужасно боялся потерять службу. Как бы извиняясь за нервное дрожание рук, он заискивающе, отрывисто засмеялся:

— Видит бог, мистер Баррас, я очень рад, что кончилась эта дурацкая история... Трудно приходилось нам все это время. Я предпочел бы работать по две смены круглый год, чем снова пережить такие три месяца.

Баррас, не слушая его, спросил:

— Как все это вышло?

— Они устроили собрание в клубе. Выступил Фенвик, но его не хотели слушать. За ним — Гоулен... знаете, Чарли Гоулен, контрольный весовщик. Он встал и сказал, что ничего другого не остается, как выйти на работу. Потом Геддон напустился на них. Он специально

приехал из Тайнкасла. Да, он с ними не церемонился, мистер Баррас, можете мне поверить. Объявил, что они не имели права выступать без согласия Союза, что Союз умывает руки во всем этом деле, назвал их кучей отпетых дураков (то есть он употребил другое слово, но его я в вашем присутствии повторить не смею, мистер Баррас) за то, что они все это затеяли на свой страх и риск. Потом голосовали. Восемьсот с лишним голосов за то, чтобы приступить к работе. Семь — против.

Наступила пауза.

— Ну, что же дальше? — спросил Баррас.

— Потом они пришли к конторе целой толпой — Геддон, Гоулен, Огль, Хау, Диннинг, и вид у них был довольно-таки приниженный. Спрашивали вас. А я им передал то, что вы сказали: что вы не пустите к себе на глаза никого из них, пока они не начнут работать. Тут Гоулен произнес речь... он неплохой малый, хоть и пьяница. «Мы, — говорит, — побеждены и признаём это». Потом выступил Геддон с обычной профсоюзной трескотней. Развел турусы на колесах, будто они через Гарри Нэджента поднимут вопрос в парламенте. Но это говорилось так, для отвода глаз. Одним словом, они совсем присмирели и спрашивают, можно ли выйти на работу завтра в первую смену. Я сказал, что мы поговорим с вами, сэр, и дадим им ответ в шесть часов.

Ричард допил чай.

— Значит, они хотят вернуться на работу. Так, так... — Казалось, Баррас находил создавшееся положение любопытным и хладнокровно его обдумывал.

Три месяца тому назад Баррас заключил с Парсоном договор на поставку коксующегося угля. Такие договоры — золотое дно, их трудно бывает добиться. С договором в кармане Баррас начал подготовительную разработку в районе Скаппер-Флетс шахты «Парадиз» и выемку коксующегося угля особого сорта из единственного места в «Нептуне», где этот уголь еще имелся.

Но тут рабочие забастовали, не считаясь ни с ним, ни с Союзом. Договора больше не существовало, он был брошен в огонь. Баррасу пришлось расторгнуть сделку. Он на этом потерял двадцать тысяч фунтов.

Застывшая на губах Ричарда слабая усмешка словно говорила: «Любопытно, клянусь богом!»

Армстронг спросил:

— Так вывесить объявление, мистер Баррас?

Ричард, сжав губы, с неожиданным неудовольствием глянул на услужливого Армстронга.

— Да, — сказал он сухо. — Пускай завтра приступают к работе.

Армстронг с облегчением вздохнул и сделал инстинктивное движение в сторону двери. Но Гудспет, неразвитому уму которого было доступно лишь очевидное, не трогался с места и мял шапку в руках.

— А с Фенвиком как же быть? — спросил он. — И ему приступать к работе?

— Это его дело.

— И потом, как насчет второго насоса? — не унимался Гудспет. Это был рослый, флегматичный мужчина с отвислой нижней губой и сонным лицом землистого цвета.

Ричард сделал нетерпеливый жест:

— Какой еще второй насос?

— А верхний, с напорной трубой, о котором вы говорили три месяца назад, когда ребята забастовали. Он выкачал бы много воды из Скаппер-Флетс... то есть выкачал бы ее скорее, и

внизу, там, где работают, было бы меньше слякоти.

— Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я буду продолжать выработку в Скаппер-Флетс. С коксовым углем придется подождать другого договора.

— Ваша воля, сэр. — Землистое лицо Гудспета густо покраснело.

— Ну, кажется, все! — Голос Барраса звучал уже, как всегда, спокойно и внушительно. — Можете передать, что я рад за рабочих, которые вернутся на работу. Все эти никому не нужные лишения — возмутительное безобразие.

— Обязательно передам, мистер Баррас, — с готовностью отозвался Армстронг.

Баррас молчал. Говорить было больше не о чем, и Армстронг и Гудспет вышли.

Некоторое время Баррас, размышляя, стоял на том же месте, спиной к камину, потом запер виски в буфет, подобрал упавшие на поднос два кусочка сахару и аккуратно уложил их обратно в сахарницу. Он страдал при виде какого-нибудь беспорядка, при одной только мысли, что напрасно пропадет кусок сахару. В его доме *ничего* не должно пропадать даром, он этого не потерпит. Эта черта Барраса сказывалась больше всего в мелочах: он не тратил лишней спички, карандаш исписывал до последнего дюйма, свет в доме полагалось выключать в строго определенное время, из обмылков прессовались новые бруски мыла, горячую воду экономили и даже топили очень скупно, угольным мусором. При звоне разбившейся чашки или блюда кровь бросалась Баррасу в голову. Главной заслугой тети Кэрри, по его мнению, была строгая бережливость, с какой она вела хозяйство.

Он стоял не двигаясь, разглядывая свои белые холеные руки. Потом вышел из комнаты, медленно поднялся наверх, не заметив Артура, чье обращенное к нему робкое лицо белело, как луна, в полутьме передней, и вошел в комнату жены:

— Гарриэт!

— Здравствуй, Ричард.

Она вязала, сидя в постели, с тремя подушками за спиной и одной у ног. Ей укладывали за спину три подушки, потому что кто-то сказал, что три подушки — самое удобное. А вязать ей предписал для успокоения нервов молодой доктор Льюис, ее новый врач. Когда вошел муж, Гарриэт перестала вязать и подняла глаза. У нее были густые черные брови, а под глазами коричневые тени — типичный признак неврастении.

Гарриэт улыбнулась, словно прося извинения, и дотронулась до своих распущенных лоснящихся волос, обрамлявших бледное лицо:

— Ты извинишь, Ричард? У меня опять был приступ жестокой головной боли. Пришлось Кэролайн расчесывать мне щеткой волосы.

Она снова улыбнулась привычной улыбкой страдальцы, меланхолической улыбкой тяжело больного человека. У нее болела поясница, у нее был больной желудок, больные нервы. Временами у нее бывали отчаянные головные боли, от которых не помогал и туалетный уксус, не помогало ничего, кроме осторожного растирания головы, — это лежало на обязанности Кэролайн. Тетя Кэрри выстаивала на ногах битый час, тихонько, медленно водя щеткой по волосам Гарриэт. Никто не мог доискаться подлинной причины страданий Гарриэт. Никто. Она измучила всех докторов в Слискейле — Скотта, Ридделя и Проктора; она побывала у многих специалистов в Тайнкасле; в отчаянии обращалась к лечившим травами, к гомеопату, к специалисту по физиотерапии, который обертывал ее какими-то чудодейственными электрическими бинтами. Каждый шарлатан вначале казался ей спасителем. «Наконец-то настоящий врач!» — объявляла она. Но все они, как и Риддель, Скотт, Проктор и специалисты Тайнкасла, оказывались в конце концов невеждами. Впрочем,

Гарриэт не унывала. Она сама изучала свои болезни, читала терпеливо, упорно и систематически множество книг, трактующих о тех недугах, которые она у себя находила. Увы, все было напрасно. Ничто, ничто не помогало. И не потому, что Гарриэт не принимала лекарств, — она принимала все лекарства, какие только существуют; ее спальня была уставлена аптечными склянками и банками, дюжинами бутылок с лекарствами — укрепляющими, болеутоляющими, слабительными, успокаивающими спазмы, разными мазями, — всем, что ей прописывалось докторами за последние пять лет. О Гарриэт можно было смело сказать, что она никогда не выбросила ни одного лекарства. Из некоторых бутылочек она приняла лекарство только по одному разу, — Гарриэт была настолько опытна, что уже после первой ложки какого-нибудь снадобья говорила иногда: «Уберите это. Я знаю, что оно мне не поможет». И бутылка отправлялась на полку.

Это было ужасно. Но Гарриэт отличалась терпением. Она уже давно не вставала с постели, тем не менее аппетит сохранила прекрасный. По временам она кушала прямо-таки великолепно, — и это тоже вызывало недомогания: с желудком, видно, было неблагополучно, ее так мучили газы! Но, несмотря на все это, Гарриэт была кротка; никогда никто не слышал, чтобы она спорила из-за чего-нибудь с мужем, она всегда оставалась покорной и доброй женой. Она никогда не уклонялась от интимных обязанностей жены, она всегда была к услугам своего супруга — в постели. У нее было пышное белое тело и мина святой. Что-то в ней странным образом напоминало корову. Она была очень благочестива, — может быть, это была священная корова.

Баррас смотрел на нее словно издалека. Как он, собственно, относился к ней? Его взгляд ничего не выдавал.

— А теперь голова болит меньше?

— Да, Ричард, немножко меньше. Боль не совсем прошла, но стало лучше. После того как Кэролайн расчесала мне волосы, я приняла ту микстуру с валерьянкой, что прописал доктор Льюис. Я думаю, это от нее мне стало легче.

— Хотел привезти тебе из Тайнкасла винограду, да забыл.

— Спасибо, Ричард. — (Просто удивительно, как часто Ричард забывал о винограде. Но доброе намерение уже само по себе что-нибудь да значит.) — Ты, конечно, побывал у Тоддов?

Что-то жесткое едва заметно мелькнуло в лице Ричарда. Жаль, что Артур, все еще занятый решением загадки, не мог видеть это выражение.

— Да, я был у них. Там все здоровы. Гетти еще похорошела и всецело занята предстоящим днем рождения: ей на будущей неделе минет тринадцать. — Он замолчал и направился к двери. — Да, знаешь, забастовка прекращена. Рабочие завтра приступают к работе.

Маленький рот Гарриэт округлился в виде буквы «О». Она, словно обороняясь, прижала руку к груди, прикрытой фланелью.

— О Ричард, как я рада! Отчего же ты мне сразу не сказал? Это чудесно. Какое облегчение!

Уже приоткрывая дверь, Ричард остановился.

— Я, вероятно, приду к тебе ночью, — сказал он и вышел.

— Хорошо, Ричард.

Гарриэт легла на спину, с лица ее еще не сошло выражение радостного удивления. Она достала листок бумаги и серебряный карандаш, украшенный на конце топазом, записала аккуратным почерком: «Не забыть сказать д-ру Льюису, что сердце сильно забилося, когда

Ричард сообщил приятную новость» — и после некоторого размышления подчеркнула слово «сильно»; потом взяла вязанье и мирно принялась вязать.

Было уже совсем темно, когда Армстронг и Гудспет вышли из больших белых ворот усадьбы в аллею высоких буков — местные жители называли ее Слус-Дин, и дальше аллея переходила в Хедли-роуд, дорогу к городу. Некоторое время они шли молча и врозь, так как не слишком любили друг друга, но потом Гудспет, уязвленный резкостью, с которой хозяин его осадил, злобно пробормотал:

— Он умеет человека с грязью смешать! Ну и каменная же душа, дьявол его возьми! Не пойму я его. Никак не пойму.

Армстронг усмехнулся в темноте. Он тайно презирал Гудспета, как человека без всякого образования, человека, который пробил себе дорогу скорее упорством, чем подлинными заслугами. Гудспет часто раздражал, даже оскорблял Армстронга своей грубой прямоотой и физическим превосходством, — и Армстронгу приятно было видеть его сейчас униженным.

— Что ты хочешь этим сказать? — переспросил он Гудспета, притворившись непонимающим.

— Да то, что слышишь, черт возьми! — сердито отрезал Гудспет.

— Он знает, что делает.

— Еще бы! Свою выгоду понимает. А мы — свою. Да ведь от этакого пощады не жди. А слышал ты, как он сказал? — Гудспет с горечью передразнил Барраса: — «Все эти напрасные, никому не нужные лишения». Комедия, да и только!

— Нет, нет, — торопливо возразил Армстронг. — Это он искренне так думает.

— Да, как же, искренне, будь он проклят! Скареее его нет человека в Слискейле. Он теперь так и кипит злобой, что упустил договор. И вот что я тебе скажу, раз уж к слову пришлось: я очень рад, что с разработкой Скаппер-Флетс дело не выгорело. Я хоть и держал язык за зубами, а в душе согласен с Фенвиком насчет этой проклятой воды.

Армстронг метнул на Гудспета быстрый неодобрительный взгляд:

— Не дело так говорить, Гудспет.

Наступила короткая пауза. Потом Гудспет, насупившись, возразил:

— Во всяком случае, Скаппер-Флетс — ужасное место.

Армстронг ничего не ответил. Они молча шагали по Хедли-роуд, затем по Каупен-стрит, мимо Террас. Когда они завернули за угол, яркий свет и гул голосов из трактира «Привет» заставили обоих обернуться. Армстронг, явно желая переменить тему, заметил:

— Сегодня трактир полон.

— Битком набит, — подтвердил Гудспет с прежней угрюмостью. — Эмур опять начал отпускать в долг. Сегодня впервые за две недели вытащил свою грифельную доску.

Не говоря больше ни слова, оба отправились вывешивать объявления.

В трактире «Привет» становилось все шумнее. Помещение было полно народу, набито до того, что голова шла кругом от табачного дыма, криков, яркого света и пивных испарений. Берт Эмур, без пиджака, стоял за стойкой, за ним на стене висела большая грифельная доска, на которой он мелом записывал, сколько выпито посетителями в долг. Берт был не дурак: последние две недели он, несмотря на мольбы и проклятия, всем отказывал в кредите. А сегодня, когда субботняя получка стала чем-то близким и вполне реальным, сразу же переменял тактику: трактир был открыт и кредит посетителям тоже.

— Налей-ка нам еще, Берт, дружище!

Чарли Гоулен с силой стукнул кружкой о прилавок и потребовал новую круговую. Чарли не был пьян, он никогда не пьянел по-настоящему, — впитывая вино, как губка, он обливался потом, лицо у него бледнело, принимая цвет сырой телятины, но вдрызг пьяным его никогда никто не видел. Кое-кто из толпившихся вокруг него были уже сильно навеселе, а больше всех — Толли Браун, старый Риди и Боксер Лиминг. Боксер был безобразно пьян. Этот неотесанный, грубый малый с красной, словно расплющенной физиономией, плоским носом и одним ухом иссиня-белым, как цветная капуста, в юности действительно был боксером и выступал в Сент-Джеймс-холле под эффектной кличкой «Чудо-мальчик из шахты». Но водка и разные другие вещи погубили его. Теперь он снова работал в шахте, не был больше ни мальчиком, ни чудом. От тех золотых дней остались лишь буйный, хоть и добродушный нрав, легкая хромота и сильно изуродованное лицо.

Чарли Гоулен, неизменный председатель на всех выпивках в трактире, снова постучал кружкой о стол. Ему не нравилось, что здесь сегодня не чувствуется беззаботного веселья, и хотелось восстановить былой уют и дружескую атмосферу вечеров в «Привете». Он сказал:

— Со многим нам приходилось мириться за последние три месяца. А все же, ребята, унывать не будем. Ничего не стоит та душа, которая не способна никогда разгуляться!

Его свиные глазки так и бегали вокруг, он ожидал обычного шумного одобрения. Но на всех лицах читалась лишь угрюмая усталость. Вместо одобрения Чарли встретил взгляд Роберта Фенвика, устремленный на него с саркастическим выражением. Роберт стоял на своем обычном месте, в самом конце прилавка, и спокойно пил с таким видом, словно ничто его здесь не интересовало.

Гоулен поднял кружку:

— Выпьем, Роберт, дружище! Тебе следует сегодня хорошенько промочить нутро. Ведь завтра ты порядком промокнешь снаружи.

Роберт со странной сосредоточенностью вглядывался в лицо Гоулена, точно налитое пивом.

— Все мы рано или поздно очутимся под водой, — сказал он.

В толпе раздались крики:

— Заткни глотку, Роберт!

— Помалкивай, парень! Довольно поговорил на собрании!

— Уж мы наслушались об этом за последние три месяца!

Тень печали и усталости легла на лицо Роберта. Он отвечал на все лишь огорченным взглядом:

— Ладно, товарищи. Делайте, как знаете. Больше ничего говорить не стану.

Гоулен хитро осклабился:

— Если ты боишься спуститься в «Парадиз», ты бы так прямо и говорил.

— Заткни пасть, Гоулен, — вступился Лиминг. — Мелешь языком, как баба! Роберт со мной в одной бригаде. Он отличный забойщик и работает на совесть. Он знает проклятую шахту лучше, чем ты — собственное брюхо.

Внезапно наступила тишина, все затаили дыхание, ожидая, не начнется ли драка. Но Чарли никогда в драки не вступал. Он пьяно ухмылялся. Напряжение зрителей сменилось разочарованием.

В этот момент дверь с улицы распахнулась. Вошел Уилл Кинч и как-то нерешительно стал проталкиваться к прилавку:

— Дай в долг кружку пива, Берт, ради бога! Хотя бы одну, иначе не выдержу...

Внимание толпы снова пробудилось и сосредоточилось на Уилле.

— Что такое? Что за беда с тобой приключилась, Уилл?

Уилл откинул жидкие волосы со лба, взял с прилавка кружку пива и повел вокруг блуждающим взглядом.

— Бед целая куча, ребята. — Он плюнул так, словно у него был полон рот грязи, затем стремительно заговорил: — С Элис моей плохо, ребята, — воспаление легких. Жена хотела сварить для нее мясной бульон. Прихожу я к Ремеджу четверть часа тому назад. Ремедж сам стоит за прилавком — брюхо жирное выставил и стоит. «Мистер Ремедж, — говорю я самым вежливым образом, — не отпустите ли мне каких-нибудь обрезков для моей девочки, она очень больна. А деньги я отдам в субботнюю получку, обязательно отдам». — Тут губы Уилла побелели, он весь затрясся, но стиснул зубы и, сделав над собой усилие, продолжал: — И что же вы думаете, ребята? Он смерил меня глазами с головы до ног и с ног до головы! «Никаких обрезков я тебе не дам», — говорит он этими самыми словами. «Уж будьте так добры, мистер Ремедж, — говорю, а у самого сердце упало. — Уделите нам какой-нибудь кусочек. Забастовка кончилась, через две недели обязательно будет получка, и я вам заплачу, как бог свят...» — Тут Уилл остановился, чтобы перевести дух. — Он ничего не ответил и опять так же на меня посмотрел... Потом говорит, словно перед ним собака, а не человек: «Ничего я тебе не дам, ни косточки. Вы — позор для города, ты и тебе подобные. Бросаете работу из-за ерунды, а потом приходите попрошайничать у порядочных людей. Убирайся вон из моей лавки, пока я тебя не вышвырнул отсюда...» И я ушел, ребята...

Рассказ Уилла был выслушан в полном молчании. Первым встрепенулся Боб Огль.

— Клянусь богом, это уж слишком! — простонал он.

Тут вскочил пьяный Боксер и крикнул:

— Да, слишком! Мы этого так не оставим!

Все заговорили разом, поднялся шум. Боксер уже прокладывал себе дорогу в толпе:

— Не стерплю я этого, товарищи! Сам пойду к этому ублюдку Ремеджу. Пойдем, Уилл! Ты получишь для девчонки самый лучший кусок, а не какие-то паршивые обрезки! — Он дружески ухватил Кинча за руку и потащил его к двери. Толпа сомкнулась вокруг обоих, выражая одобрение, и хлынула вслед за ними на улицу.

Трактир вмиг опустел. Это было просто чудо — никогда он не пустел так быстро и при возгласе хозяина: «Джентльмены, закрываем!» Минуту назад комната была битком набита — сейчас в ней оставался один только Роберт. Он стоял и смотрел на ошеломленного Эмура все с тем же мрачным, разочарованным видом... Выпил еще кружку. Наконец ушел и он.

На улице к толпе присоединилась большая группа молодежи, уличные мальчишки,

зеваки. Не зная, что тут происходит, они чуяли злое возбуждение толпы. Раз Боксер несется вперед с воинственным видом, значит будет драка. И все устремились на Каупен-стрит. Юный Джо Гоулен затесался в самую гущу толпы.

Завернули за угол и очутились на Лам-стрит, но здесь, у лавки Ремеджа, их ожидало разочарование. Большая лавка была уже заперта и, пустая, неосвещенная, являла взорам лишь холод опущенных железных штор и вывеску на фасаде: «Джеймс Ремедж. Мясная». Даже окна нельзя было разбить!

— Заперто! — раздался рев Боксера. Водка бушевала в его крови. Он не отступит, нет! Ни за что! Найдутся другие лавки тут же, рядом с Ремеджем, и без железных штор, — например, лавка Бэйтса или Мэрчисона, бакалейщика, где дверь была просто заперта на засов с висячим замком. Боксер заорал снова: — Ничего, ребята, не сдадимся, — вместо Ремеджа примемся за Мэрчисона!

Разбежавшись, он поднял ногу и тяжелым сапогом изо всей силы ударил по замку. В эту минуту кто-то из напиравшей сзади толпы швырнул кирпичом в окно. Стекло разлетелось вдребезги. Это решило все: звон разбитого стекла послужил как бы сигналом к разгрому лавки.

Толпа налегла на дверь, вышибла ее, ворвалась в лавку. Многие были пьяны, и все они уже несколько месяцев не видели настоящей еды. Толли Браун схватил окорок и сунул его под мышку. Старик Риди завладел несколькими жестянками компота. Боксер, совершенно забыв о больной дочке Уилла Кинча, возбуждавшей в нем только что пьяную слезливую жалость, выбил втулку у бочонка с пивом. Несколько женщин из гавани, привлеченные шумом, вслед за мужчинами протиснулись внутрь и начали панически хватать все: пикули, желе, мыло, — все, что попадалось под руку; они были слишком боязливы, чтобы выбирать, и попросту хватали и хватали, с лихорадочной поспешностью пряча все под свои шали. Уличный фонарь снаружи освещал эту картину холодным, резким светом.

О кассе вспомнил Джо Гоулен. Съестное его не интересовало — он, как и его папаша, был сыт до отвала, — а вот выручка могла пригодиться.

Встав на четвереньки, он, как ящерица, проскользнул среди ног толпившихся в лавке людей, заполз за конторку и отыскал денежный ящик. Не заперт! Злорадно посмеиваясь над беспечностью старого Мэрчисона, Джо сунул руку в кассу, загреб полную горсть серебра и преспокойно высыпал его к себе в карман. Затем, поднявшись, шмыгнул в дверь и пустился наутек.

В ту минуту, когда Джо выбегал из лавки, туда вошел Роберт, вернее — стал на пороге. Выражение тревоги на его лице медленно уступало место ужасу.

— Что вы делаете, товарищи?! — В голосе его звучала мольба: этот бунт, направленный по ложному пути, больно поразил его. — Ведь вы попадете в беду!

На него не обратили ни малейшего внимания. Он повысил голос:

— Говорю вам, прекратите это! Неужели вы не понимаете, дураки вы этакие, что хуже ничего нельзя было придумать?! После этого нам уже никто не будет сочувствовать. Уходите!

Но его никто не слушал.

Судорога исказила лицо Роберта. Он двинулся было на толпу, но в этот миг шум за спиной заставил его обернуться, так что свет фонаря упал на его лицо. Полиция! Роддэм из Гаванского участка и новый сержант со станции.

— Фенвик! — громко воскликнул Роддэм, сразу узнав Роберта, и схватил его за плечо.

На этот крик внутри лавки ответили еще более громкими криками:

— Полиция! Бегите, ребята, полиция!

И живая лавина неразлично смешавшихся тел хлынула из лавки. Роддэм и сержант не пытались ее задержать. Они стояли в какой-то растерянности и дали всем уйти. Затем, все еще держа Роберта за плечо, Роддэм вошел в лавку.

— А вот и еще один, сержант! — крикнул он вдруг с торжеством.

Среди разграбленной, опустевшей лавки, беспомощно покачиваясь, сидел верхом на пивном бочонке Боксер Лиминг и, плавая в блаженстве, одним пальцем затыкал отверстие. Он был слеп и глух ко всему, что происходило вокруг.

Сержант оглядел Боксера, потом лавку, потом Роберта.

— Здесь нешуточное дело, — сказал он сурово, официальным тоном. — Вы — Фенвик? Тот самый, зачинщик забастовки?

Роберт твердо выдержал его взгляд. Он возразил:

— Я ничего не сделал.

— Да, конечно! Ничего не сделали!

Роберт открыл было рот, хотел объяснить, но в ту же минуту почувствовал, как безнадежна эта попытка. Он ничего не ответил сержанту, покорился. И его вместе с Боксером отвели в участок.

Пять дней спустя, часов около четырех, Джо Гоулен беззаботно слонялся по Скоттсвуд-роуд, одной из улиц Тайнкасла, обследуя те окна, на которых висели объявления о сдаче комнат. Тайнкасл, этот полный движения и шума город севера с его кипучей суетой, светло-серыми домами, звоном трамваев, топотом ног, стуком молотков на верфи, милостиво поглотил Джо. Тайнкасл, всего на восемнадцать миль отстоявший от его родного Слискейла, всегда привлекал Джо как город больших возможностей и приключений. Джо выглядел прекрасно: краснощекий, кудрявый, в ослепительно начищенных ботинках и с веселой миной человека, который знает, чего хочет. Однако при такой блестящей внешности Джо был окончательным на мели. Сбежав из дому, он успел прокутить те два фунта серебром, что украл у Мэрчисона, истратив их на развлечения, гораздо более легкомысленные, чем это можно было предположить по его добропорядочному виду: Джо побывал на хорах мюзик-холла «Эмпайр», в баре Лоу и тому подобных местах. Он покупал пиво, папиросы, самые красивые голубые открытки. А теперь, честно истратив последний шестипенсовик на стирку и наведение лоска, Джо подыскивал приличное жилье.

Он прошел по Скоттсвуд-роуд, мимо широких железных решеток скотопригонного рынка, мимо «Герцога Кумберлендского», через Пламмер-стрит и Эльсвикскую Восточную террасу. День был серый, без солнца, но сухой; на улицах царило веселое оживление, где-то внизу, на станции, внушительно свистел прибывающий поезд, и ему вторил с реки густой и низкий звук паровой сирены. Кипевшая вокруг жизнь возбуждала Джо. Мир представлялся ему чем-то вроде огромного, великолепного футбольного мяча у его ног, и он готовился с азартом гонять его.

Пройдя Пламмер-стрит, Джо остановился перед домом с вывеской: «Меблированные комнаты. Хорошие постели. Только для мужчин». Некоторое время он в раздумье созерцал дом, потом, отрицательно покачав кудрявой головой, продолжал свою прогулку. Через минуту с ним поравнялась какая-то девушка, шедшая быстро в том же направлении, и обогнала его. У Джо глаза разгорелись, все его тело напряглось.

«Славная штучка, честное слово!» Маленькие ножки с тонкой щиколоткой, стройная талия, красивые бедра, и голова поднята гордо, как у королевы. Глаза Джо жадно следили за ней. Девушка перешла улицу и, взбежав по ступенькам, торопливо вошла в дом № 117/А на Скоттевуд-роуд.

Джо, как замороженный, остановился и оближал внезапно пересохшие губы. На окне дома 117/А висело объявление о сдаче комнаты. «Черт возьми!» — вырвалось у Джо. Он застегнул куртку и, решительно перейдя улицу, дернул звонок.

Открыла та самая девушка. Без шляпы она показалась Джо как-то ближе и милее. Она была даже красивее, чем он ожидал: на вид лет шестнадцать, тоненький носик, ясные серые глаза, восковое личико, на котором недавняя прогулка вызвала свежий румянец. Ушки у нее были крохотные и плотно прилегали к голове. Но лучше всего был рот — так мысленно решил Джо, — большой, не яркий, а нежно-розовый, с умопомрачительной впадинкой на верхней губе.

— Чего вам? — спросила она резко.

Джо скромно ей улыбнулся, опустил глаза и, сняв шапку, мял ее в руках. Никто лучше Джо не умел разыгрывать добродетельного простака, — он это делал в совершенстве.

— Извините за беспокойство, мисс. Я ищу комнату.

Ответной улыбки Джо не дождался. Девушка вздернула губку и недовольно посмотрела на него. Дженни Сэнли не нравилось, что мать вздумала пустить жильцов, хотя бы даже одного-единственного, в лишнюю комнату наверху. Она считала это «вульгарным», а «вульгарность» была в глазах Дженни непростительным грехом.

Она обдернула на себе блузку и, сунув руки за изящный лакированный пояс, сказала с некоторым высокомерием:

— Что ж, войдите, пожалуй.

Ступая с почтительной осторожностью, Джо прошел за ней в узкий коридор и тотчас уловил запах голубей и их воркование. Он поднял голову и посмотрел наверх, но голубей не заметил. Выходившая на площадку внутренней лестницы дверь ванной комнаты была открыта, и виднелось развешанное на веревке белье — длинные черные чулки и какие-то белые принадлежности туалета. «Это ее вещи», — с восхищением подумал Джо, но отвел глаза раньше, чем девушка успела покраснеть. Дженни все же покраснела от стыда за такое упущение, и голос ее вдруг прозвучал сердито, когда она, тряхнув головой, объявила:

— Ну вот, тут, если хотите знать. Задняя комната.

Он вошел вслед за ней в эту «заднюю комнату» — маленькую, грязную, со следами пребывания множества жильцов, набитую старой ломаной мебелью с волосяными сиденьями; повсюду дешевые иллюстрированные журналы, сувениры из Уитли-Бэй, мешочки с кормом для голубей. На каминной доске важно восседали два домашних голубя. У огня, тихонько покачиваясь в скрипучем кресле-качалке, сидела в ленивой позе, с журналом «Домашняя болтовня» неряшливо одетая женщина, большеглазая, с целой копной волос, заколотых на макушке.

— Вот, ма, тут пришли насчет комнаты. — Дженни с надменным видом села на диван со сломанными пружинами и схватила измятый журнал, всячески стараясь показать, что не желает больше принимать никакого участия в этом деле.

Миссис Сэнли продолжала безмятежно покачиваться. Разве только удар грома, возвещающий конец света, мог заставить Аду Сэнли переменить удобное положение на неудобное. Она постоянно заботилась о своих удобствах: то снимет туфли, расстегнет корсет, то примет немного соды, чтобы не было отрыжки, то нальет себе чашку чаю, то присядет отдохнуть и почитает газету, пока закипает чайник. Это была жирная, благодушная, мечтательная неряха. Иногда она принималась пилить мужа, но большей частью пребывала в беззаботном равнодушии ко всему окружающему. В молодости Ада была прислугой «в одном почтенном семействе», как она всегда усиленно подчеркивала. Она любила смотреть на молодой месяц, была романтична и суеверна: никогда не надевала ничего зеленого, никогда не проходила под лестницей и, если просыпала соль, непременно бросала щепотку через левое плечо. Она обожала увлекательные романы, особенно такие, где в конце концов героине-брюнетке удается «поймать» героя. Аде хотелось разбогатеть — она постоянно участвовала в разных конкурсах, главным образом на шуточные стишки, и всегда надеялась выиграть кучу денег. Но стихи Ады были безнадежно плохи. Ее часто осеняли неожиданные идеи (в семье их называли «мамины фантазии»): переменить обои в комнате, или обить диван красивым розовым плюшем, или заново эмалировать ванну, или уехать в деревню, или открыть гостиницу либо галантерейный магазин, или даже написать рассказ, — она была убеждена, что у нее «талант». Но ни одно из этих намерений Ады никогда не осуществлялось. Ада никогда не покидала надолго своей качалки. Ее супруг Альф говаривал

кротко: «Боже мой, Ада, какая ты неутомная!»

— О, а я думала, что это из клуба, — сказала она в ответ на слова Дженни. Затем, помолчав, спросила: — Так вам нужна комната?

— Да, мэм.

— Мы сдадим только одинокому молодому человеку. — Разговаривая с кем-нибудь в первый раз, Ада всегда принимала томный вид, но томность эта очень быстро с нее соскакивала. — Наш последний жилец выехал неделю тому назад. Вы хотите комнату с частичным пансионом?

— Да, мэм, если это вас не затруднит.

— Вам придется обедать с нами за общим столом. Семья у нас из шести человек: я, муж, Дженни — вот эта самая, ее целый день дома не бывает, она служит у Слэттери, — потом Филлис, Клэрис и Салли, самая младшая. — Ада помолчала и оглядела Джо, на этот раз пытливо. — А между прочим, вы кто такой? И откуда?

Джо смиренно потупил глаза. Он вдруг струсил: он вошел сюда просто так, шутки ради, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но теперь почувствовал, что должен снять у них комнату, что это ему просто необходимо. Эта Дженни — прелесть, лакомый кусочек, она его прямо-таки с ума свела. Но что отвечать, черт возьми?! Вихрь подходящих к случаю выдумок пронесся у него в голове, но он сразу же все их отверг. Где у него багаж, где деньги, чтобы дать задаток? Дьявольское положение! Его даже пот прошиб, и он уже был близок к отчаянию, как вдруг его осенила мысль, что самое разумное — сказать правду. «Да, да, правду, — ликовал он внутренне, — но, конечно, не всю правду, а что-нибудь похожее на правду». Он вскинул голову и, посмотрев Аде прямо в глаза, сказал с застенчивой прямоотой:

— Я бы мог наврать вам с три короба, мэм, но лучше уж скажу вам всю правду: я сбежал из дому.

— Господи помилуй! Слыхано ли что-нибудь подобное!

Журнал упал на колени, даже качалка на этот раз остановилась. Миссис Сэнли и Дженни обе с интересом уставились на Джо. Лучшими традициями романтики повеяло в этой затхлой комнате.

Джо продолжал:

— Мне страшно тяжело жилось и стало уже не вмоготу. Мать умерла, а отец стегал меня ремнем так, что я едва на ногах держался. У нас в шахтах бастовали и все такое... Я... я голодал. — Глаза Джо выражали мужественно сдерживаемое волнение. «Замечательно! Замечательно придумано! Теперь я их окончательно приручил!»

— Значит, матери у вас нет? — спросила Ада чуть слышно.

Джо молча покачал головой. Все, что нужно, было сказано.

Ада с возрастающим сочувствием рассматривала своими большими кроткими глазами этого чистенького, аккуратно причесанного и красивого юношу. «Он немало узнал горя, бедняга, — думала она, — и к тому же он прехорошенький». Ей нравились его блестящие карие глаза и кудрявые волосы. Но кудри кудрями, а квартирная плата квартирной платой — одно другого не заменит, конечно... А тут еще приходится думать об уроках музыки для Салли... Ада снова принялась покачиваться. При всей своей лени и беспечности Ада Сэнли была далеко не глупа. Она взяла себя в руки.

— Послушайте, — она перешла на деловой тон, — ведь вы же не можете жить у нас из милости. Вам следует найти себе работу, постоянную работу. Вот, кстати, мой Альф сегодня говорил, что в Ерроу, на чугунолитейном заводе Миллингтона, набирают рабочих. Знаете, это

по дороге в Плэтт-лейн. Попробуйте там счастья. Если удастся, приходите опять сюда. Если нет — не приходите.

— Хорошо, мэм.

Джо сохранял мину строгой добродетели до тех пор, пока не вышел от Сэнли, но тут он в экзальтации большими прыжками помчался через улицу.

— Эй ты, рожа! — Он сгреб за воротник проходившего мальчика-посыльного. — Укажи дорогу к заводу Миллингтона или я сверну тебе шею!

Джо чуть не бегом направился в Ерроу; а идти пришлось далеко, очень далеко. На заводе он лгал бесстыдно и вдохновенно и показал мастеру свои мускулы. Ему повезло: здесь очень нужны были рабочие руки, и он был принят в качестве подручного пудлинговщика за двадцать пять шиллингов в неделю. По сравнению с заработком на шахте это было целым состоянием. И к тому же здесь, в Тайнкасле, есть Дженни, Дженни, Дженни!

Он отправился обратно на Скоттсвуд-роуд, стараясь идти медленно, обуздывая себя увещаниями, что надо быть осмотрительным, ничего не делать наспех, налаживать все постепенно. Но когда он оказался снова в «задней комнате» у Сэнли, его ликование бурно прорывалось сквозь тонкую броню осторожности.

Вся семья была в сборе, только что отпили чай. Ада сидела, развалившись, во главе стола, рядом с ней — Дженни. Дальше, одна за другой, три младшие дочери: тринадцатилетняя Филлис, апатичная блондинка, вылитый портрет матери, Клэрис, длинноногая брюнетка одиннадцати с половиной лет, — волосы у нее были перевязаны красивой алой лентой с коробки шоколада, принадлежавшей Дженни, — и, наконец, Салли, забавное десятилетнее существо с таким же большим ртом, как у Дженни, и с сердитыми черными глазами, смотревшими на людей пристально и настороженно. В конце стола сидел Альфред, муж Ады, отец четырех девочек, глава семьи, — невзрачный, сутулый мужчина с одутловатым лицом, водянистыми глазами и жиденькими желто-бурыми усами. У него было растяжение шейных мускулов, и поэтому он не носил воротничка. Альфред был по профессии маляр и в свое время немало наглотался свинцовых белил, пока накладывал их на фасады тайнкаслских домов. Свинцу он был обязан землистым цветом лица, сильными болями в желудке и синеватыми деснами. Но в растяжении шейных мускулов виновато было не ремесло маляра, а голуби. Альф был страстным любителем голубей, сизых, красноватых, пестрых, прелестных премированных домашних голубей. И, выпуская голубей, следя за их полетом в небесной синеве, Альф постепенно искривил себе шею.

Оглядев всех, Джо радостно воскликнул:

— Меня приняли! Завтра начинаю работать. Двадцать пять монет в неделю!

Дженни демонстративно не узнавала его. Зато Ада с обычной томностью выразила удовольствие:

— Вот видите, я же вам говорила! Мне вы будете платить пятнадцать в неделю, так что у вас будет оставаться чистых десять. Конечно, только вначале, потому что вам скоро дадут прибавку. Пудлинговщики хорошо зарабатывают.

Она тихонько зевнула в руку, потом кое-как очистила местечко на загроможденном столе:

— Садитесь и закусывайте. Клэри, принеси из кухни чашку и блюдечко и будь умницей — сбегай к миссис Гризли, возьми на три пенса ветчины, да смотри, чтобы она тебя не обвесила. Для первого раза надо угостить вас чем-нибудь повкуснее. Альф, это мистер Джо Гоулен, наш новый жилец.

Альф перестал медленно жевать намоченный в чае сухарь и приветствовал Джо коротким, но выразительным кивком, Клэри влетела с вымытой чашкой и блюдцем. Джо налили черного, как чернила, чаю, затем появилась и ветчина и пол булки, а Альфред торжественно подал ему через стол горчицу.

Джо уселся рядом с Дженни на волосяном диване. Его опьяняло соседство этой девушки и мысль о том, как замечательно у него все вышло. Дженни была очаровательна, и никогда еще он не испытывал такого сильного, такого властного желания. Он изо всех сил старался понравиться, пленить всех, — но не Дженни, конечно. О господи, конечно нет! Джо знал, как надо действовать. Он улыбался своей открытой сердечной улыбкой, он болтал, втянув всех в непринужденный разговор, придумывал анекдоты из своей прошлой жизни; он говорил Аде комплименты, шутил с девочками, он даже рассказал одну вполне приличную и очень забавную историю, которую однажды слышал на концерте, устроенном обществом «Надежда». Он не то чтобы по-настоящему состоял в обществе «Надежда», нет, просто вступил накануне концерта, а наутро после него сразу же отмежевался от этого благочестивого братства. Рассказ имел успех у всех, за исключением Салли, которая отнеслась к нему презрительно, и Дженни, чье высокомерное равнодушие ничем нельзя было поколебать. Зато Ада покатывалась со смеху, упершись руками в жирные бока и роняя шпильки из прически:

— И Боне нашел муху в своей ежевичной настойке! Ну и история, я вам доложу, мистер Гоулен!

— Пожалуйста, зовите меня просто Джо, миссис Сэнли. Смотрите на меня как на члена вашей семьи.

Он начинает их завоевывать. О, он скоро всех их завоюет! Восторг ударил ему в голову, как вино. Да, это верный путь, он сумеет добиться всего, он сумеет ухватиться за жизнь, выжать из нее все, что можно. Он пойдет далеко, будет иметь все, чего ему захочется, все, все, — вот увидите!

Потом Альф предложил Джо посмотреть, как он кормит своих голубей. Они вышли во двор; здесь жемчужно-серые птицы чистили перья клювом и то высовывали головки из самодельной голубятни Альфа, то прятались снова, деликатно поклевывая корм. Альф, который при жене был тише воды, ниже травы, теперь сразу преобразился в героического мужчину и высказывал веские мнения не только о голубях, но и о пиве, патриотизме и о шансах Спирминта на скачках в Дэрби. С Джо он был приветлив и обращался с ним, как с младшим товарищем. Но Джо жаждал вернуться туда, где была Дженни. Докурив папиросу, он извинился и поспешил обратно в дом.

Дженни была одна в угловой комнате. Она по-прежнему сидела на диване, углубившись в чтение журнала.

— Извините, — пролепетал Джо. — Я хотел попросить, чтобы вы указали мне мою комнату.

Она даже не опустила журнал, который держала, изящно согнув мизинец:

— Вам ее укажет кто-нибудь из девочек.

Но он не уходил.

— А вы не прогуливаетесь по вечерам в свой свободный день? Вот сегодня, например?

Никакого ответа.

— Вы служите в магазине, да? — терпеливо попытался он снова завязать разговор. Он смутно помнил, что Слэттери — это, кажется, большой мануфактурный магазин с

зеркальными витринами на Грэйнджер-стрит.

Дженни наконец удостоила его взглядом.

— А если и в магазине — вам-то что? — отрезала она. — Вас это не касается. И вообще, я не «служу». Это вульгарное, простонародное выражение, я его не выношу. Я *состою в штате* у Слэттери, в отделении шляп, там самая чистая и тонкая работа. Ненавижу все грубое и вульгарное! И больше всего не выношу мужчин, которые делают грязную работу.

И она рывком снова подняла журнал. Джо в раздумье потирал подбородок, пожирая глазами всю ее — от тонких лодыжек и стройных бедер до красивых маленьких грудей. «Вот как, ты не любишь мужчин, которые занимаются грязной работой? — думал он, усмехаясь про себя. — Ладно, подожди. Ты полюбишь такого мужчину».

Марта переживала это как тяжкий позор. Никогда ей и не снилось такое, никогда в жизни! Ужас! Стряпая на кухне, то пробуя вилкой, готова ли картошка, то поднимая крышку с кастрюли, чтобы посмотреть, как тушится мясо, она старалась не думать о том, что случилось. Но ничего не выходило, она не могла не думать. Тщетно боролась она с собой, гнала прочь мысли о том, что она, Марта Редпас, дожила до такого позора. Редпасы всегда были приличными людьми. В ее роду все были честные сектанты, честные углекопы. Она могла с гордостью перебрать представителей целых четырех поколений и не отыскать ни единого пятна на их репутации. Все честно работали под землей и наверху тоже вели себя как порядочные люди. А теперь? Теперь она уже не Марта Редпас, а Марта Фенвик, жена Роберта Фенвика. А Роберт Фенвик — в тюрьме.

Гримаса горечи исказила ее лицо. В тюрьме! Ее обожгло воспоминание об этой сцене, как обжигало сотни раз: Роберт на скамье подсудимых, рядом с Лимингом, — и надо же, чтобы вместе с таким, как Лиминг! — а этот краснорожий грубиян Джеймс Ремедж — за судейским столом. Он не церемонился и говорил напрямик все, что думал. Марта была на суде, она не могла не пойти. Да, была, и видела, и слышала все. «На три недели, без замены штрафом». Она чуть не вскрикнула, когда Ремедж прочел приговор. Ей казалось, что она сейчас умрет. Но гордость помогла ей взять себя в руки, сделать каменное лицо. Гордость поддерживала ее все эти жуткие дни, помогла ей даже сегодня, когда жена Боксера Лиминга, возвратившаяся из города с новостями, подстерегла ее, Марту, на углу и с громогласным сочувствием объявила, что «наши мужья» будут выпущены в субботу. «Наши мужья... Выпущены!»

Посмотрев на часы (первая вещь, которую Сэм выкупил для нее из заклада), она подтащила к огню жестяную лохань и принялась носить кипяток из прачечной. Она черпала воду железным ведром, и хождение с тяжелой ношей сильно измучило ее. Последнее время ей нездоровилось, и сейчас тоже она ощущала слабость и головокружение. Начинались боли. На минутку пришлось остановиться, пока немного не утихнут схватки. «Это все из-за волнения», — подумала Марта. Ведь она женщина крепкая. Ей казалось, что ей было бы легче, если бы ребенок внутри подавал какие-нибудь признаки жизни, но он не шевелился, она чувствовала только тянущую боль и тяжесть в животе.

Пробило пять часов, и очень скоро с улицы донесся топот — медленные, тяжелые шаги утомленных людей. Работать девять часов в смену, а потом еще взбираться на самый верх холма, на Террасы... Но это хорошая, честная работа, на ней они выросли, и она тоже. Ее сыновья молоды и сильны. Они шахтеры. И другой работы она для них не желала.

В ту минуту, как она это подумала, дверь открылась, и вошли все трое: впереди Гюи, за ним Дэвид и последним Сэмми, тащивший под мышкой кусок распиленного бревна на растопку. Милый Сэмми! Всегда позаботится о матери! Теплая волна умиления пробилась сквозь холодную тоску в сердце, и Марте вдруг захотелось обнять Сэмми и заплакать.

Сыновья следили за выражением лица матери. В последние дни дома царил гнетущая атмосфера. Марта была с ними резка и придирчива. Она это сознавала, видела, что они с опаской всматриваются в ее лицо, и, хотя она сама была в этом виновата, ее это задело.

— Ну, как дела, мать? — Сэмми улыбнулся, и его белые зубы сверкнули на черном фоне угольной пыли, которая, смешавшись с потом, коркой облепила ему лицо.

Марте нравилось, что он называл ее «мать», а не «ма», как было принято у них в предместье. Но она только указала кивком головы на приготовленную ванну с водой и, отвернувшись, принялась накрывать на стол.

Несмотря на присутствие матери, все трое сняли башмаки, куртки, фуфайки и брюки — рабочий костюм шахтера, насквозь пропитанный потом, водой и грязью шахты. Раздевшись догола, они стали все вместе мыться в жестяной ванне, из которой поднимался пар. Теснота обычно не мешала им дружелюбно шутить. Но сегодня шутки слышались редко. Сэм, правда, пробовал поддразнивать Дэви и смеялся:

— Над ванной мойся, ты, бегемот! — А потом: — Эй, парень, где мыло? Ты проглотил его, что ли?

Но в шутках этих не было настоящего веселья. Гнет, нависший над домом, мрачное лицо Марты парализовали его. Братья оделись на этот раз без обычных дурачеств и, почти не разговаривая, сели обедать.

Обед был отличный — большие порции аппетитного мяса, тушенного с луком и картофелем. Марта всегда готовила прекрасные обеды: она понимала, как много значит обед для рабочего человека. Теперь, слава богу, эта несчастная забастовка прекратилась и можно кормить своих досыта. Она сидела и наблюдала, как они едят, снова наполнила их тарелки. Самой ей не хотелось есть, она только выпила чаю. Но даже от чая ей не стало лучше. Какая-то блуждающая боль началась в пояснице, защемила грудь и исчезла раньше, чем Марта поняла, что это за боль.

Сыновья кончили обед. Первым поднялся Дэвид и отошел в угол, где хранились его книги, потом уселся на низенькую табуретку у очага с карандашом и записной книжкой, положив ее на колени. «Латынь, — подумала огорченно Марта, — он может теперь заниматься латынью!» И эта мысль, мелькнувшая среди других, горьких, почему-то вызвала раздражение. Вот тоже одна из затей Роберта — это учение: он хочет, чтобы мальчик в будущем году поступил в колледж, держал экзамен на стипендию, — и Дэви лезет из кожи. Роберт послал его учиться в вечернюю школу к мистеру Кэрмайклу на Бетель-стрит. А она, Марта, насчитывавшая в своем роду длинный ряд предков-углекопов, гордилась этим, презирала книги и чувствовала, что из этого учения ничего хорошего не выйдет.

Вслед за Дэви встал из-за стола Гюи, отправился в прачечную и принес оттуда молоток, колодку, свои старые футбольные башмаки и дюжину новых сапожных гвоздей. Он присел на корточки в дальнем углу кухни, в стороне от остальных, и, наклонив темную, еще блестящую от воды голову, начал подбивать гвоздями башмаки, как всегда молчаливый, сосредоточенный. В прошлую субботу он из своей полочки утаил от матери шестипенсовик — просто оставил его себе, не сказав ей ни слова об этом. Марте нетрудно было догадаться для чего. Футбол! Дело тут не только в увлечении спортом, хотя Гюи и обожал спорт. Нет, нет, у Гюи была более серьезная цель: Гюи хотел стать чемпионом, футболистом высокого класса, получающим шесть фунтов в неделю за величайшую ловкость в игре, — вот в чем заключалась тайна Гюи, его заветная мечта. Оттого он отказывался от папирос и даже от стакана пива по воскресеньям, оттого он не встречается с девушками (Марта знала, что Гюи никогда не смотрит ни на одну из них, хотя очень многие девушки заглядывались на него), оттого он носился по вечерам, пробегая целые мили, — это называлось тренировкой. Марта не сомневалась, что, как бы Гюи ни был утомлен, он уйдет, как только починит свои башмаки.

Она нахмурилась еще сильнее. Спартанские привычки Гюи она от всей души одобряла,

ничто не могло быть лучше. Но цель! Бросить шахту? И он тоже жаждал уйти из шахты! Марта не верила в его ослепительную мечту и не боялась, что она может осуществиться, но ее тревожила эта страсть Гюи — да, она ее очень заботила.

Инстинктивно глаза ее обратились на Сэма, который еще сидел за столом и черенком вилки беспокойно выводил на клеенке узоры. Он, видно, почувствовал взгляд матери — тотчас в смущении положил вилку и встал. Засунув руки в карманы, он минуты две слонялся по кухне, подошел к квадратному зеркальцу, висевшему над раковиной, взял гребень с полочки, намочил его и старательно расчесал волосы на пробор, потом достал висевший на перекладине у очага чистый воротничок, который мать накрахмалила и выгладила только сегодня утром, надел его, завязал по-новому галстук, прифрантился; затем, удовлетворенно насвистывая, схватил шапку и весело направился к двери.

Лежавшая на коленях рука Марты сжалась так сильно, что костяшки пальцев торчали, как острия.

— Сэмми!

Сэм, уже на пороге, обернулся, словно в него выстрелили.

— Куда ты, Сэмми?

— Ухожу, мать.

Его улыбка не смягчила ее, она не хотела ее замечать.

— Вижу, что уходишь. Но куда?

— Пройдусь по улице.

— По Кэй-стрит?

Сэм посмотрел на нее. Его простодушное некрасивое лицо вспыхнуло и приняло упрямое выражение:

— Да, если желаешь знать, мама, я иду на Кэй-стрит.

Значит, инстинкт ее не обманул: он идет к Энни Мэйсер. Марта терпеть не могла Мэйсеров, ей не внушали никакого доверия этот непутевый отец и бешеный Пэг Мэйсер, его сын. То были люди такого же сорта, как Лиминги, — не особенно почтенные. Они даже не были шахтерами, а принадлежали к «рыбацкой братии», державшейся особняком и не имевшей верного заработка. У этих людей, по выражению Марты, было «сегодня густо, завтра пусто», один месяц объедались, другой — закладывали и лодку и сети. Против самой Энни Марта ничего не имела, — люди говорили, что она славная девушка. Но Сэмми она не пара. У нее бог знает какая родня, она торгует рыбой вразнос и даже как-то, когда выдался плохой год, нанялась в Ярмуте потрошить сельдей. Чтобы Сэмми, ее любимый сын, которого она надеялась увидеть когда-нибудь лучшим забойщиком «Нептуна», женился на какой-то уличной торговке? Никогда! Никогда! Марта тяжело перевела дух.

— Я не хочу, чтобы ты сегодня вечером уходил из дому, Сэмми.

— Но я обещал, ты же знаешь, мама. Мы идем гулять с Пэтом Мэйсером. И Энни с нами.

— Все равно, Сэмми. — Ее голос стал неприятно резким и скрипучим. — Я не хочу, чтобы ты туда шел.

Сэм посмотрел на нее в упор, и в его глазах, кротких, как у преданной собаки, она прочла неожиданную решимость.

— Энни меня ждет, мать. Ты извини, но мне надо идти.

Он вышел и очень тихо закрыл за собой дверь.

Марта сидела как окаменелая: в первый раз в жизни Сэмми ее ослушался. У нее было

такое чувство, словно он дал ей пощечину. Заметив, что Дэвид и Гюи украдкой на нее поглядывают, она попыталась взять себя в руки — встала, убрала со стола, трясущимися руками перемыла посуду.

Дэвид сказал:

— Давай, мама, я перетру все.

Она покачала головой, сама перетерла тарелки и села чинить одежду сыновей. С некоторым трудом вдела нитку в иглу, достала старую рабочую фуфайку Сэмми, в стольких местах штопанную и заплатанную, что уже почти не видно было фланели, из которой она первоначально была сделана. При виде этой старой фуфайки шахтера у Марты сжалось сердце. Она вдруг почувствовала, что была слишком резка с Сэмми, обошлась с ним не так, как следовало бы. Не Сэм виноват, а она. Эта мысль взволновала Марту, и глаза ее затуманились. Сэм сделал бы для нее что угодно, если бы она поговорила с ним по-хорошему!

Она принялась было чинить фуфайку, как вдруг снова почувствовала боль в пояснице. На этот раз боль была злая, пронизывающая, и Марта мгновенно поняла, что это означает. Она с ужасом выжидала. Боль утихла, потом возобновилась. Молча, без единого слова, Марта поднялась и вышла через заднюю дверь. Она двигалась с трудом. Вошла в чулан. «Да, началось».

Выйдя из чулана во двор, она с минуту стояла среди вечернего мрака и безмолвия, одной рукой опираясь на низкую ограду, другой — придерживая свой тяжелый живот. Вот оно и пришло, а муж в тюрьме. Какой срам! И на глазах у взрослых сыновей! На вид непроницаемая, как окружавший ее мрак, Марта торопливо соображала: нельзя звать ни доктора Скотта, ни миссис Риди, повитуху. Роберт безрассудно ухлопал все их сбережения на эту забастовку. У нее долги, она не может, не должна допускать новых расходов. В одну минуту решение было принято.

Она воротилась в дом:

— Дэвид! Сбегай к миссис Брэйс. Попроси ее зайти ко мне сейчас же.

Дэвид, встревоженный, вопросительно посмотрел на мать. Марта никогда особенно не благоволила к Дэвиду, он был любимцем отца, но в эту минуту выражение его глаз тронуло ее. Она сказала ласково:

— Беспокоиться не о чем, Дэви. Мне просто нездоровится.

Когда мальчик поспешно вышел, она отперла комод, где хранила свой скудный запас белья; затем, неловко ступая, с трудом переставляя ноги, взобралась по лестнице наверх, в спальню сыновей.

Миссис Брэйс, ближайшая соседка, пришла сразу же. Это была добродушная женщина, страдавшая одышкой, очень тучная. Бедняжка выглядела так, словно и сама ожидала ребенка. На самом же деле у Ханны Брэйс была пупочная грыжа, следствие частой беременности, и, несмотря на то что муж ее Гарри каждый год клятвенно обещал ей купить к Рождеству бандаж, бандажа у нее до сих пор не было. Каждый вечер, ложась спать, она усердно вправляла выпирающую массу, и каждое утро эта масса снова вылезала. Ханна почти привыкла к своей грыже, говорила о ней с близкими людьми так, как говорят о погоде. Грыжа была для нее любимой темой разговора.

Ханна с такими же предосторожностями, как и Марта, поднялась по лестнице и скрылась в комнате наверху.

Дэви и Гюи сидели в кухне. Гюи бросил чинить башмаки и делал вид, что с интересом

читает газету. Дэвид тоже притворялся, будто читает. Но время от времени они обменивались взглядами, чувствуя, что там, наверху, совершается что-то таинственное, и каждый видел в глазах другого выражение какого-то смутного стыда. Нет, только подумать! Это происходит с их собственной матерью!

Из спальни наверху доносился лишь шум тяжелых шагов миссис Брэйс, и больше ничего. Один раз она крикнула вниз, чтобы принесли горячей воды. Дэви отнес ей чайник.

В десять часов вернулся Сэм. Он вошел бледный, стиснув зубы, ожидая ужаснейшей сцены. Мальчики рассказали ему, что случилось. Сэм покраснел (он вообще легко краснел), раскаяние охватило его, — он был незлопамятен.

— Бедная мама, — сказал он, глядя на потолок.

На большее проявление нежности никто из них никогда не решился бы.

В три четверти одиннадцатого миссис Брэйс, расстроенная и озабоченная, сошла вниз с небольшим свертком, завернутым в газету... Она вымыла под краном испачканные чем-то красным руки, напилась холодной воды, потом обратилась к Сэмми, как к самому старшему.

— Девочка, — сказала она. — Прехорошенькая, но мертвая. Да, родилась мертвой. Я все сделала не хуже, чем миссис Риди, не сомневайтесь. Но ничем уже нельзя было помочь... Завтра приду убирать маленькую. Ты снеси-ка матери наверх чашку какао. Ей уже немножко лучше. А мне надо идти готовить моему хозяину завтрак к первой смене.

Она осторожно подняла сверток, ласково улыбнулась Дэвиду, заметившему, что сквозь газету протекает что-то красное, и заковыляла из кухни.

Сэм сварил какао и понес наверх. Он оставался там минут десять. Когда он спустился вниз, лицо у него было желто-серое, как глина, на лбу выступил пот. Сэм вернулся со свидания с любимой девушкой — и увидел лицом к лицу смерть.

Дэвид надеялся, что Сэм заговорит, расскажет, лучше ли матери. Но Сэм сказал только:

— Ложитесь спать, ребята. Мы все трое ляжем здесь, на кухне.

На другое утро, во вторник, миссис Брэйс пришла проведать Марту и, как обещала, обмыть и обрядить мертвого ребенка.

Дэвид вернулся из шахты раньше других: в эту ночь ему повезло, он поднялся наверх сразу и на две клетки обогнал главную смену. Когда он пришел домой, в кухне было еще полутемно. На кухонном столе лежал трупик девочки.

Дэвид подошел ближе и стал рассматривать ее со странной смесью страха и благоговения. Она была такая маленькая, ручонки не больше лепестка белой кувшинки, на крохотных пальчиках не было ногтей. Он мог бы одной своей ладонью закрыть все ее личико. Точеное, белое, как мрамор, оно было прелестно. Синие губки полуоткрыты, словно в удивлении, что жизнь не наступила. Миссис Брэйс с искусством настоящей профессионалки заткнула ей рот и ноздри ватой. Глядя через плечо Дэвида, она не без гордости объявила:

— Чудо как хороша. Но твоя мама, Дэви, не хочет, чтобы она лежала у нее наверху.

Дэвид вряд ли слышал ее. Упрямое возмущение росло в его душе, пока он смотрел на это мертворожденное дитя. Почему так должно было случиться? Почему его мать была лишена той пищи, того ухода и внимания, которые требовались в ее положении? Почему этот ребенок не живет, не улыбается, не сосет грудь?

Дэвида это мучило, будило в нем бешеный гнев. Как тогда, когда Скорбящий и его жена накормили его, в нем что-то болезненно трепетало, как натянутая струна. И снова он со всей сумбурной страстностью юной души давал себе клятву что-то сделать... Что-то... он не знал, что именно, не знал как... Но он сделает!.. Он нанесет сокрушительный удар гнусной

бесчеловечности окружающей жизни.

Сэм и Гюи вошли одновременно. Посмотрели на малютку. Не переодеваясь, пообедали жареной грудинкой, которую приготовила миссис Брэйс. Обед был не так вкусен, как всегда, картошка не разварилась, в ванне было мало горячей воды, в кухне грязно и все вверх дном — чувствовалось отсутствие матери.

Попозже, когда Сэмми пришел сверху, он исподтишка посмотрел на братьев и сказал как-то натянуто:

— Она не хочет, чтобы были похороны. Я толковал ей, толковал, а она не хочет, и все, — говорит, что после забастовки мы не можем тратить таких денег.

— Но ведь это обязательно, Сэмми! — воскликнул Дэвид. — Спроси у миссис Брэйс...

Миссис Брэйс послали уговаривать Марту. Но и это не помогло — Марта была неумолима. С холодной горечью думала она об этом ребенке, которого она не хотела и который теперь уже не нуждался в ней. Закон не требует, чтобы мертворожденных хоронили по обряду. И не надо никаких похорон, всех этих церемоний, которыми обставляют смерть.

Гюи, мастер на все руки, сделал аккуратный гробик из простых досок, внутри его выстлали чистой белой бумагой и уложили трупик на это незатейливое ложе. Потом Гюи приколотил крышку. Поздно ночью, в четверг, Сэм взял гробик под мышку и вышел один. Он запретил Гюи и Дэви идти за ним. Было темно и ветрено. Мальчики не знали, куда ходил Сэм, пока он не вернулся и не рассказал им. Оказалось, что он занял пять шиллингов у Пэта Мэйсера, старшего брата Энни, заплатил Джиддису, кладбищенскому сторожу, и Джиддис позволил ему тайно зарыть ребенка в углу кладбища. Часто потом Дэвид думал об этой могилке, которую Сэм сровнял с землей. Он так никогда и не узнал, в каком месте она находится. Ему было только известно, что неподалеку от участка нищих. Это ему удалось выпытать у Сэма.

Прошла пятница, настала суббота — день выхода Роберта из тюрьмы. Марта родила в понедельник вечером, а в субботу днем она была уже на ногах и ожидала. Ожидала его, Роберта.

Он пришел в восемь часов, когда она была одна на кухне и стояла, наклонясь над огнем; вошел так тихо, что она не заметила его, пока знакомый кашель не заставил ее круто обернуться. Муж и жена в упор смотрели друг на друга, он — спокойно, беззлобно, она — с терпкой горечью, мрачным огнем пылавшей в ее глазах. Оба молчали. Роберт бросил шапку на диван и сел к столу движением очень усталого человека. Марта тотчас подошла к печке, вынула гревшийся для него обед, поставила перед ним тарелку — все в том же зловещем молчании.

Роберт начал есть, время от времени бросая беглые взгляды на ее фигуру, взгляды, в которых читалась просьба о прощении. Наконец спросил:

— Что тут с тобой приключилось, детка?

Она задрожала от гнева:

— Не смей больше называть меня так.

Тогда он понял. В нем шевельнулось что-то вроде удивления.

— Мальчик или девочка? — спросил он.

Марта знала, что ему всегда хотелось иметь дочку. И, чтобы сделать ему больно, рассказала, что дочь родилась мертвой.

— Вот, значит, как!.. — сказал он со вздохом. И, помолчав, добавил: — Плохо тебе приходилось это время, детка?

Это было уж слишком. Марта не сразу удостоила его ответом. Со скрытым ожесточением убрала пустую тарелку, поставила перед ним чай и только тогда сказала:

— Я привыкла к плохому. Хорошего не знавала с того дня, как вышла за тебя.

Роберт вернулся домой в самом миролюбивом настроении, но злобные выходки жены разгорячили усталую кровь.

— Я не виноват, что все так случилось, — сказал он с не меньшей горечью, чем Марта. — Ты, надеюсь, знаешь, что меня посадили ни за что.

— Нет, этого я не знаю, — возразила она, подбоченясь и вызывающе глядя ему в лицо.

— Они хотели со мной рассчитаться за забастовку, неужели ты не понимаешь?

— И это меня ничуть не удивляет! — ответила она, задыхаясь от гнева.

Тут у Роберта лопнуло терпение. Господи, да что он сделал плохого? Он убедил людей бастовать, потому что страшно боялся за них с тех пор, как начались работы в Скаппер-Флетс. А в конце концов они же над ним глумились. Им на него плевать, — вот допустили, чтобы его без всякой вины посадили в тюрьму. Яростное возмущение забушевало в нем, возмущение против Марты и против своей судьбы. Он размахнулся и ударил Марту по лицу.

Она не дрогнула, приняла удар даже с каким-то удовлетворением, ноздри ее раздулись.

— Спасибо, — сказала она. — Мило с твоей стороны. Только этого и ждала.

Роберт тяжело опустился на стул, побледнев еще больше, чем она, и закашлялся своим глухим, надрывным кашлем. Этот кашель лишил его сил. Когда приступ прошел, Роберт сидел согнувшись, совсем разбитый. Через некоторое время встал, разделся и лег на стоявшую в кухне кровать.

На другой день, в воскресенье, он хотя и проснулся в семь часов утра, но оставался в постели до полудня. Марта встала рано и ушла в церковь. Она заставила себя пойти туда, выдерживать любопытные взгляды, знаки пренебрежения и выражения сочувствия со стороны прихожан Бетель-стрит, отчасти в пику Роберту, отчасти же для того, чтобы поддержать свое достоинство.

Обед был настоящим мучением, в особенности для мальчиков. Они терпеть не могли те дни, когда у отца с матерью дело доходило до открытой ссоры. Эти ссоры словно парализовали всех, тучей нависали над ними.

После обеда Роберт пошел в контору копей. Он ожидал увольнения, но оказалось, что его не уволили. У него мелькнула смутная догадка, что здесь сыграла роль его дружба с Геддоном, уполномоченным шахтеров, и с Гарри Нэджемтом, одним из лидеров Союза. Хозяин, видно, опасался, как бы не вышло конфликта с Союзом, и благодаря этому его, Роберта, оставили на работе в «Нептуне».

Он пошел прямо домой, посидел с книгой у огня, потом молча улегся в постель. Его разбудил гудок, в два часа он был уже в шахте, так как работал в первой, утренней смене.

Весь день Марта ждала его возвращения. Неутихшая злоба все так же бушевала в ней. Она ему покажет, рассчитается с ним за все!.. Она беспрестанно поглядывала на часы, желая, чтобы время шло поскорее.

Сменившись, Роберт пришел домой совершенно разбитый и промокший до костей. Марта готовилась донимать мужа враждебным молчанием, но его жалкий вид неожиданно утишил всю глодавшую ее злобу.

— Что это с тобой? — вырвалось у нее инстинктивно.

Роберт оперся о стол, стараясь удержать кашель, с трудом переводя дух.

— Они уже принялись строить каверзы, — сказал он, намекая на отмену жребия при

распределении мест в «Парадизе». — Меня занесли в черный список и дали самое скверное место на всем участке. Паршивая трехфутовая кровля. Всю смену я работал лежа на животе в воде.

Острая жалость полоснула Марту по сердцу. И вместе с этим трепетом боли в ней ожило то, что она считала давно умершим. Она протянула руки к Роберту:

— Дай я помогу тебе, муженек. Дай помогу раздеться. Она помогла ему снять грязную, промокшую одежду, помогла вымыться. Теперь она знала, что все еще любит его.

Дэвид, работавший на глубине пятисот футов под землей, в двух милях от главной шахты, решил, что, вероятно, скоро перерыв. Он находился в «Парадизе», на участке «Миксен», самом низком этаже «Нептуна», на двести футов ниже «Глоба» и на триста ниже «Файв-Квотерс». Часов у Дэвида не было, и он определял время по числу рейсов, которые проделал с вагонетками от рудничного двора до погрузочной площадки. Он стоял сейчас подле Дика, своего шотландского пони, на площадке, где нагруженные углем вагонетки прицеплялись к механическому подъемнику и передавались на главный откаточный путь «Парадиза». Дэвид ожидал, пока Толли Браун переведет ему пустые вагонетки. Он ненавидел «Парадиз», но на площадке ему нравилось. Здесь ему, потному и разгоряченному от бега, казалось так прохладно, и можно было стоять во весь рост, не боясь удариться головой о кровлю.

Стоя здесь, он думал об ожидавшей его счастливой судьбе. Едва верилось, что сегодня его последняя суббота в «Нептуне». Не только последняя суббота — последний день! Нет, такому счастью даже трудно поверить!

Дэвид всегда ненавидел шахту. Некоторым из его товарищей нравилось работать в ней, они чувствовали себя здесь как рыба в воде. А ему совсем не нравилось. Может быть, потому, что у него слишком развито было воображение, он не мог отделаться от мысли, что шахтеры — те же заключенные, что они словно погребены в этих темных клетках, глубоко под землей. Кроме того, Дэвид, бывая в забое «Файв-Квотерс», всякий раз вспоминал, что он находится под морским дном. Мистер Кэрмайкл, младший преподаватель школы на Бетель-стрит, помогавший ему готовиться к экзаменам, объяснил ему, как называется это странное ощущение, будто находишься взаперти... Да, глубоко под землей, под дном морским... А там, наверху, светит солнце, дует свежий ветер, серебряные волны бьются о берег.

Дэвид всегда упрямо боролся с этим ощущением: пусть его повесят, если он поддастся такой глупой слабости! И все же он был рад, рад, что уходит из «Нептуна», тем более что испытывал странную уверенность, будто шахта считает своей добычей всякого, кто раз попал в нее, и не выпускает его больше никогда. Так говорили, шутя, старые шахтеры. Дэвид усмехнулся в темноте. Это шутка! Ну конечно, не более как шутка.

Толли Браун перевел пустые вагонетки, Дэвид собрал поезд из четырех вагонеток, вскочил на перекладину, щелкнул языком, погоняя Дика, и помчался по черневшему сплошным мраком скату. Вагонетки, грохоча, неслись за ним по неровному пути, а он все подгонял пони. Дэвид гордился своим умением ездить быстро. Он ездил быстрее всех откатчиков в «Парадизе» и привык к грохоту вагонеток. Этот грохот ему не мешал. Неприятно было только, когда какая-нибудь из них отрывалась и сходила с рельсов. Усилия, которые приходилось затрачивать на то, чтобы опять водворить ее на место, могли убить человека!

Он летел все ниже, ниже, стремглав, с головокружительной быстротой, выравнивая ход, направляя его, зная, где нужно быстро нагнуть голову, а где налечь на дугу. Это безрассудство, ужасное безрассудство, отец часто бранил его за слишком быструю езду, но Дэвиду она доставляла наслаждение. Великолепным последним скачком он достиг рудничного двора и остановился.

Здесь, как он и ожидал, уже сидели в нише на корточках и завтракали Нед Софтли и Том

Риди, возившие вручную вагонетки от забоя до рудничного двора.

— Ну, садись и пожуй, старина! — крикнул Том, у которого рот был набит хлебом и сыром, и отодвинулся в глубь ниши, давая место Дэвиду.

Дэвиду нравился Том, крупный, добродушный парень, заменивший Джо в забое. Дэвид часто спрашивал себя: куда мог деваться Джо и что он теперь делает? И удивлялся при этом, отчего он так мало замечает отсутствие Джо, — ведь как-никак они с Джо были напарниками. Может быть, оттого, что Том Риди вполне заменил ему Джо? Он такой же веселый и притом гораздо охотнее помогает, когда вагонетка сходит с рельсов, и не ругается так цинично, как Джо. Но хотя Дэвиду общество Тома доставляло удовольствие, он отрицательно покачал головой:

— Нет, Том, я пойду вниз.

Он хотел завтракать вместе с отцом. Всякий раз, когда представлялся случай, он забирал свой мешочек с едой и отправлялся в забой. И сегодня, в последний день, он не хотел изменять этой привычке.

Кровля наклонной просеки, ведущей к забою, была так низка, что Дэвиду приходилось сгибаться чуть не пополам. Туннель был тесен, как кроличий садок, и в нем царил чернильный мрак, так что открытая рудничная лампочка, немного коптившая, едва освещала его на какой-нибудь фут впереди. Здесь было так мокро, что вода хлюпала под ногами. Дэвид пробирался с трудом. Раз он ударился головой о твердую неровную поверхность базальтового свода и тихо выругался.

Добравшись до забоя, он увидел, что отец и Лиминг еще не завтракают и продолжают рубить уголь для нагрузки на порожние вагонетки, которые Том и Нед должны были скоро привезти. Полуголые, в одних только сапогах и коротких штанах, они вырубали уголь длинными столбами. Забой был убийственный, и работа — Дэвиду это было известно — страшно тяжелая. Он выбрал сухое местечко и сел, наблюдая за работавшими и ожидая, пока они кончат. Роберт, согнувшись боком под глыбой угля, подсекал ее, готовясь опустить на землю. Он дышал тяжело, лоя ртом воздух, и пот струился из каждой поры его тела. У него был вид вконец замученного человека. В забое негде было повернуться, кровля нависла так низко, что казалось, вот-вот расплющит его, но Роберт работал упорно, умело и с замечательной ловкостью. Подле него рубил Боксер. Рядом с Робертом этот человек с могучей волосатой грудью и воловьей шеей казался великаном. Он не говорил ни слова и все время с ожесточением жевал табак. Жевал, сплевывал, рубил. Но Дэвид с мгновенно вспыхнувшей благодарностью заметил, что Боксер, жалея его отца, беретя всякий раз за более тяжелый конец и делает самую трудную часть работы. Пот лил градом с изуродованного лица Боксера, и сейчас в нем не оставалось уже ничего от «чудо-мальчика из шахты».

Наконец они прекратили работу, обтерли пот фуфайками, надели их и уселись завтракать.

— Здорово, Дэви, — сказал Роберт, только теперь увидев сына.

— Здравствуй, папа.

Из соседнего забоя вынырнули Гарри Брэйс и Боб Огль и подсели к ним. Последним молча вошел Гюи, брат Дэвида. Все принялись за еду.

После утомительной езды в течение целого утра Дэвиду показались необыкновенно вкусными хлеб и холодная свинина, положенные матерью в его мешок. Отец же, как он заметил, едва дотрагивался до еды и только жадными, большими глотками пил холодный чай

из бутылки. В мешке у него оказался еще и пирог. С тех пор как Роберт и Марта помирились, она готовила для него превкусные завтраки. Но Роберт половину пирога отдал Боксеру, сказав, что ему не хочется есть.

— Тут у кого угодно аппетит пропадет, — заметил Гарри Брэйс, кивая в сторону забоя, где работал Роберт. — Собачье место, что и говорить!

— Рабочему повернуться негде, будь оно проклято! — подтвердил Боксер, уписывая пирог с шумным удовольствием. Его «миссус» обыкновенно давала ему с собой в шахту только ломоть хлеба с жиром. — А пирог, ей-богу, первоклассный!

— Это от сырости все мы тут здоровье теряем, — вмешался Огль. — С кровли вода так и хлещет.

Наступило молчание, нарушаемое лишь хрипением воздуха в насосе. Будя в темноте эхо, эти звуки сливались с журчанием и бульканьем воды, протекавшей через нижнюю всасывающую трубу насоса. Этот шум был так привычен, что шахтеры уже почти не замечали его, тем не менее он приносил каждому бессознательное успокоение: где-то в глубине души рождалась уверенность, что насос работает хорошо.

Гарри Брэйс повернулся к Роберту:

— Но здесь все-таки не так мокро, как в Скаппер-Флетс, правда?

— Нет, — отвечал Роберт глухо. — Мы еще дешево отделались.

Боксер заметил:

— Если тебя донимает сырость, Гарри, ты бы попросил свою хозяйку, чтобы она тебе по вечерам утюжила кости.

Все засмеялись. Окрыленный успехом, Боксер шутливо ткнул Дэвида локтем в бок:

— Ты ведь у нас ученый малый, Дэви. Не посоветуешь ли какого средства, чтобы отогреть мой зад, а то он отсырел.

— Не хотите ли несколько тумачков? — сухо предложил Дэви.

Вокруг еще громче захохотали. Боксер ухмыльнулся. В тусклом полумраке он казался каким-то веселым великаном, склонным к сатанинским шуткам.

— Молодец, молодец! Это бы меня, наверное, согрело! — Он одобрительно поглядел сбоку на Дэви. — Ты, я вижу, действительно голова! Правда, что ты едешь в Бедлейский колледж, чтобы обучать всех профессоров Тайнкасла?

Дэвид сказал:

— Я рассчитываю, что они меня будут обучать, Боксер.

— Но чего ради тебя туда несет, скажи на милость? — укоризненно спросил Лиминг, подмигнув при этом Роберту. — Неужто тебе не хочется вырасти настоящим шахтером, вот как я, с такой же изящной фигурой, и лицом, и с кругленьким капиталцем в банке Фиддлера?

На этот раз шутки не захотел понять Роберт.

— Он поедет в колледж, потому что я хочу вытащить его *отсюда*, — сказал он сурово. И страстная выразительность, с которой он произнес последнее слово, заставила всех умолкнуть. — Пускай попытает счастья. Он усердно работал, выдержал экзамен на стипендию и в понедельник поедет в Тайнкасл.

Наступила пауза. Затем Гюи, все время молчавший, вдруг объявил:

— Хотелось бы и мне попасть в Тайнкасл! Интересно бы посмотреть на игру настоящих футболистов — тамошней объединенной команды...

Он сказал это с такой тоской, что Боксер снова захохотал.

— Не горюй, мальчик! — Он хлопнул Гюи по спине. — Скоро тебе самому придется играть с объединенной командой. Я видел твою игру и знаю, чего ты стоишь. Говорят, тайнкаслские спортсмены приезжают в Слискейл на ближайший матч специально для того, чтобы посмотреть на тебя.

Лицо Гюи покраснело под слоем грязи. Он понимал, что Боксер смеется над ним, но это его не трогало — пускай себе шутят, а он все-таки рано или поздно туда попадет! Он себя покажет, и скоро покажет, да!

Неожиданно Брэйс повернул голову в сторону просеки и прислушался.

— Эге! — воскликнул он. — Что это случилось с насосом?!

Боксер перестал жевать, все притихли, вслушиваясь в темноту. Хрипение насоса прекратилось.

За целую минуту никто не произнес ни слова. Дэвид почувствовал, что у него по спине поползли мурашки.

— Черт побери! — сказал наконец Лиминг медленно, с каким-то тупым удивлением. — Слышите? Насос не действует!

Огль, работавший в «Парадизе» недавно, вскочил и стал ощупывать засасывающий рукав насоса. Потом торопливо воскликнул:

— Вода поднимается. Здесь ее уже больше, гораздо больше, чем было!

Он снова погрузил в воду руку до самого плеча и, повозившись у насоса, сказал с внезапной тревогой:

— Схожу, пожалуй, за десятником.

— Постой! — остановил его Роберт резко-повелительным тоном и прибавил уже спокойнее: — Ну чего ты сразу побежишь в главную шахту, как испуганный мальчишка? Пусть себе Диннинг остается там, где он есть. Погоди немножко! С черпанным насосом никогда беды не случится. И сейчас, наверное, ничего серьезного. Должно быть, засорился клапан. Я сам пойду посмотрю.

Он спокойно, не торопясь, встал и пошел по скату. Остальные ожидали в молчании. Не прошло и пяти минут, как послышалось медленное чавканье прочищенного клапана, и снова, журча, заработал насос. А спустя еще три минуты стало слышно его привычное мощное хрипение. Сковывавшее всех напряжение исчезло. Чувство великой гордости за отца охватило Дэвида.

— Здорово, черт возьми! — ахнул Огль.

Боксер поднял его на смех:

— Разве ты не знаешь, что когда работаешь с Робертом Фенвиком, то беспокоиться нечего? Ну валяй, нагружай вагонетки. А будешь тут сидеть целый день, так много не заработаешь.

Он встал, стащил с себя фуфайку, Брэйс, Гюи и Огль ушли в свой забой, а Дэвид, пройдя мимо Роберта, направился к вагонеткам.

— Ты быстро справился, Роберт, — заметил Боксер. — А Огль уже готов был нас хоронить! — И он оглушительно захохотал.

Но Роберт не смеялся. С каким-то странным, отсутствующим выражением изможденного лица он снял фуфайку и швырнул ее, не глядя, на землю. Фуфайка упала в лужу.

Они снова принялись за работу. Кайлы поднимались и опускались, отсекая глыбы угля, которые затем нужно было спускать вниз. Пот градом катился с обоих мужчин. Грязь

забивалась во все поры кожи. Пятьсот футов под землей и две мили до рудничного двора. Вода медленно сочилась с потолка, непрерывно капала, подобно дождю, невидимому в сплошном мраке. И, заглушая все, мерно хрипел насос.

К концу смены Дэвид отвел своего пони в стойло и распряг его.

Теперь предстояло самое тяжелое; он знал, что это будет тяжелее всего, но оказалось даже хуже, чем он ожидал. Он порывисто гладил шею пони. Дик, повернув длинную морду, казалось, глядел на Дэвида своими кроткими слепыми глазами, потом ткнулся носом в карман его куртки. Дэвид часто оставлял для него от своего завтрака кусочек хлеба или сухарик. Но сегодня Дика ждал необычайный сюрприз: Дэвид вытащил из кармана кусок сыра — Дик просто обожал сыр! — и стал медленно кормить пони. Отламывая маленькие кусочки и держа их на ладони, он старался продлить удовольствие и Дик и себе. Когда влажная бархатистая морда касалась его ладони, у Дэвида клубок подкатывал к горлу. Он тихонько отер руку об отворот куртки, в последний раз посмотрел на Дика и торопливо пошел прочь.

Он шел к выходу из шахты по главному откаточному штреку, мимо того места, где в прошлом году обвалившаяся кровля задавила трех человек: Хэрроуэра и двух братьев Престон — Нейля и Аллена. Дэвид видел, как их отрывали, изуродованных, сплюснутых... окровавленные тела, набитые грязью рты... Он никогда не мог забыть этого ужаса и, проходя мимо места их гибели, всегда замедлял шаг, упрямо желая доказать себе, что ему не страшно.

По дороге к нему присоединились Том Риди и его брат Джек, Нед Софтли, Огль, юный Ча Лиминг — сын Боксера, Дэн Тисдэйл и другие. Они пришли к рудничному двору, где целая толпа шахтеров ожидала своей очереди подняться наверх, терпеливая, несмотря на тесноту. Клеть поднимала только двенадцать человек зараз. Кроме «Парадиза», она обслуживала еще два верхних этажа, «Глоб» и «Файв-Квотерс». Дэвида оттеснили от весело дурачившихся Тома Риди и Неда Софтли и прижали к Скорбящему. Скорбящий уставился на него своими темными внимательными глазами:

— Ты, говорят, поступаешь в колледж в Тайнкасле?

Дэвид утвердительно кивнул головой. И опять предстоящее событие показалось ему слишком необычным, чтобы быть правдой. Должно быть, его утомили за последние полгода напряженная работа по ночам, занятия с мистером Кэрмайклом, поездки в Тайнкасл на экзамены и затем радость, когда он узнал о результатах. Мучила его и молчаливая борьба из-за него между отцом и матерью: Роберт упорно и страстно желал, чтобы Дэвид получил стипендию и бросил работу в шахте, а Марта так же твердо решила, что он останется дома. Весть об успехе сына она приняла молча, без единого слова, и даже не приготовила его вещи к отъезду. Она не хотела принимать в этом никакого участия, нет, не хотела!

— Смотри, остерегайся Тайнкасла, мальчик, — сказал Скорбящий. — Ты едешь в пустыню, где люди бродят во тьме среди бела дня и в полдень, как среди ночи, ощупью ищут дорогу. Вот возьми. — Он сунул руку в грудной карман и достал оттуда тонкую, сложенную пополам и носившую следы пальцев брошюрку, сильно испачканную угольной пылью. — Здесь ты найдешь хорошие советы. За этой книжкой я не раз коротал обеденное время в шахте.

Дэвид, покраснев, взял брошюрку. Она его не интересовала, но не хотелось обижать Скорбящего. Он смущенно перелистал ее, — ничего другого не оставалось, — но в полутьме трудно было разобрать что-нибудь. Вдруг огонь в его лампе вспыхнул ярче, и одна фраза бросилась ему в глаза: «Никакой слуга не может служить двум господам, и вы не можете

служить и Богу и мамоне».

Скорбящий не отводил от него испытующего взгляда. А Том Риди лукаво шепнул Дэвиду: — Чем это он наградил тебя?

Толпа вдруг засуетилась. С грохотом опустилась клеть. Сзади кто-то крикнул: — Полезайте все, ребята! Все полезайте!

Толпа хлынула к клетю. Началась обычная при посадке давка. Дэвид протиснулся вслед за остальными. Клеть, со свистом рассекая воздух, поднималась все выше и выше, словно подхваченная невидимой гигантской рукой. Навстречу лился дневной свет. Вот с лязгом поднялась перекладина, и люди сплошной, словно спаянной, массой двинулись из клетки навстречу дню.

Дэвид вместе с другими спустился по ступеням, прошел через двор и занял место в ряду шахтеров, ожидавших получки у конторы. Был солнечный июньский день. Его безмятежная прелесть смягчала резкие контуры копра, столбов, вращающихся шкивов и даже дымящей вытяжной трубы. Чудесно в такой день навсегда уходить из шахты!

Стоявшие в очереди медленно продвигались вперед. Дэвид видел, как его отец вышел из клетки (он последним поднялся наверх) и стал в конце очереди. Потом он заметил, что в ворота въехал кабриолет из усадьбы. В появлении кабриолета хозяина не было ничего необычного: каждую субботу Ричард Баррас приезжал в контору в час получки, когда рабочие, выстроившись во дворе, ожидали своих конвертов с деньгами. Это превратилось в своего рода ритуал.

Экипаж сделал ловкий поворот, так что его желтые спицы засверкали на солнце, и остановился у конторы. Баррас сошел, прямой и чопорный, и скрылся в главном подъезде. Бартли, соскочив еще раньше, возился с лошадью. Артур Баррас, втиснутый в кабриолет между двумя мужчинами, теперь остался в нем один.

Медленно продвигаясь вперед, Дэвид рассматривал Артура, лениво размышляя о нем. Артур, неизвестно почему, внушал ему симпатию — удивительно странное чувство, почти парадоксальное, потому что оно было похоже на жалость. А ему, Дэвиду, жалеть Артура Барраса было просто смешно! Между тем этот сидевший в экипаже тщедушный подросток с мягкими белокурыми волосами, которыми играл ветер, казался ему очень одиноким. Он вызывал покровительственное чувство. И у него был такой серьезный вид. Эта серьезная сосредоточенность походила на печаль. Когда Дэвид вдруг открыл, что жалеет Артура Барраса, он чуть не засмеялся.

Наконец и он добрался до окошка. Подошел, взял конверт с получкой, выброшенный ему из окошка кассиром Петтитом, и побрел, не торопясь, к воротам, чтобы подождать там отца. Здесь он остановился, прислонясь спиной к калитке. Мимо него проходила Энни Мэйсер. Увидев Дэвида, она улыбнулась ему и остановилась. Она ничего не сказала — Энни редко заговаривала с кем-нибудь первая, — она просто остановилась и, дружески улыбаясь Дэвиду, ожидала, чтобы он заговорил с ней.

— Одна гуляете, Энни? — сказал он ласково.

Энни Мэйсер ему нравилась, очень нравилась. Вполне понятно, что Сэм влюблен в нее. Она такая простая, бодрая, приветливая и ни капельки не спесива. За Энни глупостей не водилось. Почему-то она напоминала Дэвиду живую серебристую рыбку, хотя была далеко не миниатюрна и не имела ни малейшего сходства с рыбой. Это была рослая, ширококостная девушка одних лет с Дэви, с пышными бедрами и красивой тугой грудью; на ней было синее саржевое платье и грубые чулки ручной вязки. Энни сама вязала себе чулки. Она не

прочитала за свою жизнь ни одной книги, но чулок связала очень много.

— Я сегодня в последний раз здесь, Энни, — сказал Дэвид, заговорив с ней только для того, чтобы она не ушла. — Расстаюсь с «Нептуном» навсегда... с водой, грязью, пони, вагонетками и всем прочим.

Энни сочувственно улыбнулась.

— И ничуть не жалко, — добавил Дэвид. — Уверяю вас! Ничуть.

Энни понимающе кивнула головой. Наступило молчание. Энни окинула взглядом улицу, кивнула Дэвиду все с той же приветливой улыбкой и пошла дальше.

А он с теплым чувством смотрел ей вслед. И вдруг вспомнил, что Энни, собственно, не произнесла ни одного слова. Но, несмотря на это, каждая минутка, проведенная в ее обществе, доставляла удовольствие. Такова уж была Энни Мэйсер!

Дэвид оглянулся, ища глазами отца. Роберт был еще далеко от окошка. Как Петтит копается сегодня! Дэвид снова прислонился к воротам, постукивая ногой о столб.

Вдруг он заметил, что и за ним тоже наблюдают. Баррас в сопровождении Армстронга вышел из конторы, и оба, хозяин и смотритель, стояли теперь у кабриолета и смотрели прямо на него, Дэвида. Он решительно встретил эти взгляды, не желая смиряться перед ними: в конце концов, теперь ему наплевать — разве он не уходит из шахты? Баррас и Армстронг с минуту продолжали разговор, затем Армстронг, почтительно улыбнувшись хозяину, поманил рукой Дэвида. Тот неохотно направился к ним, но старался идти медленно.

— Мистер Армстронг сказал мне, что вы получили стипендию в Бедлейском колледже?

Дэвид видел, что Баррас в превосходном настроении. Тем не менее холодные глаза хозяина смотрели на него с суровой пронизательностью.

— Я очень рад вашему успеху, — продолжал Баррас. — А что вы думаете делать потом... по окончании колледжа?

— Буду держать экзамены на степень бакалавра словесности.

— Словесности? Гм... А почему бы вам не выбрать профессию горного инженера?

Что-то в тоне Барраса заставило Дэвида ответить вызывающе:

— Меня это дело не интересует.

Вызов скользнул по Баррасу так же бесследно, как капля воды по холодному камню.

— Вот как! Не интересует?

— Нет. Мне не нравится работать под землей.

— Не нравится, — равнодушно повторил Баррас. — Так вы хотите быть преподавателем?

Дэвид понял, что Армстронг все рассказал ему.

— Нет, нет. Я на этом не останавлиюсь.

Он тут же пожалел, что у него это вырвалось. Порыв возмущенной гордости толкнул его на такую откровенность. Он понимал, как неуместны подобные заявления здесь, когда он стоит в грязном рабочем платье, а Артур из кабриолета смотрит на него и слушает. Зачем выступать в роли тошнотворного героя какого-то автобиографического романа «От хижины до Белого дома»? Но из упрямства он не хотел отступать. Если Баррас спросит, он ответит ему прямо, что намерен делать в будущем.

Но Баррас не проявлял никакого любопытства и, казалось, не заметил враждебности. Спокойно, точно не слыша слов Дэвида, он наставительным тоном продолжал:

— Образование — прекрасная вещь. Я никогда никому не становлюсь на дороге. Когда окончите колледж, дайте мне знать. Я член попечительского совета и могу устроить вас в одну из школ нашего графства. У нас всегда имеются вакансии для младших учителей.

Пряча глаза за сильными стеклами, он с тем же отсутствующим видом сунул руку в карман брюк и достал целую горсть серебра. Со своей обычной неторопливостью выудил монету в полкроны, как бы взвесил ее мысленно, положил обратно и взял вместо нее монету в два шиллинга.

— Вот вам флорин, — сказал он с величественным спокойствием, одновременно и одаряя и отпуская этим жестом Дэвида.

Дэвид был настолько ошарашен, что машинально принял от него монету. Он стоял, зажав ее в руке, пока Баррас садился в экипаж, и смутно сознавал, что Артур дружелюбно улыбается ему. Кабриолет тронулся.

Дэвид с трудом удерживал распиравший его смех. Вспомнился евангельский текст из брошюры, которую дал ему Скорбящий: «Нельзя служить и Богу и мамоне». Он повторял про себя: «Нельзя служить и Богу и мамоне. Нельзя служить и Богу...» Комедия, да и только!..

Резко повернувшись, он зашагал к воротам, где уже стоял Роберт, ожидая его. Дэвид понял, что отец был свидетелем всей этой сцены. Роберт даже побледнел от гнева и не поднимал глаз, избегая смотреть на сына. Оба вышли за ворота и пошли по Каупен-стрит. Ни одного слова не было сказано между ними. Скоро их догнал Сви Мессюэр. Роберт тотчас же заговорил с ним обычным дружеским тоном. Сви, красивый белокурый юноша, был всегда беззаботно-весел. Он работал грузчиком, но не в «Парадизе», а выше этажом, в «Глобе». Настоящее его имя было Освей Мессюэр; он был сыном цирюльника с Лам-стрит, натурализовавшегося австрийца, вот уже двадцать лет жившего в Слискейле. Оба, отец и сын, были популярны: сын — в шахте, где весело нагружал вагонетки, отец — в своем «Салоне», где ловко намывливал подбородки.

Роберт разговаривал со Сви так, как будто ничего неприятного не произошло. Когда Сви распрощался с ними, перед тем как свернуть на Фрихолд-стрит, он сказал ему:

— Передай отцу, что приду в четыре, как всегда.

Но как только Сви ушел, лицо Роберта приняло прежнее горькое выражение. Черты его словно сжались, скулы резко обозначились. Молча брел он рядом с Дэвидом и, когда они уже прошли половину Каупен-стрит, вдруг остановился против Миддльрига, заднего двора старой запущенной молочной фермы, которая у города была бельмом на глазу. Двор был завален гниющей соломой, всякими нечистотами, а посреди высилась большая куча навоза. Остановившись, Роберт в упор посмотрел на Дэвида.

— Что он дал тебе, сын? — спросил он тихо.

— Два шиллинга, папа. — И Дэвид показал флорин, который он с каким-то чувством стыда до сих пор еще крепко сжимал в кулаке.

Роберт взял монету, посмотрел на нее и с бешеной силой швырнул прочь.

— Вон ее! — сказал он, выговаривая эти слова так, как будто они причиняли ему боль. — Вон ее!

Флорин угодил прямо в середину навозной кучи.

[Купить полную версию книги](#)

Попечительство о бедных.

Кожаны — непромокаемые куртки для шахтеров.

Вагранка — печь для переплавки металла.

«Чудаки» (Oddfellows) — тайное общество вроде масонского ордена.

Сословный дух (*фр.*).

Целик — нетронутый массив, оставляемый вокруг ствола шахты и между выработками, чтобы предотвратить обвал кровли и прорыв воды.

Яланна — слабительное.

Закладка — предохранительная стенка, выложенная из пустой породы.

Стволовой находится у ствола шахты, ведает разгрузкой и нагрузкой клетки и дает сигналы поднимать клетку вверх.

«*Одетая в пурпур жена*» — образ из Апокалипсиса — была у протестантов, по одной версии, символом греховности мира, по другой — символом папского Рима.

Длинная, или английская, тонна — 1016 килограммов; *короткая*, или судовая, — 770 килограммов.

Верн — английский изобретатель системы военных сигналов (1877).

Так называли в Англии уклонявшихся от отправки на фронт под предлогом «незаменимости в тылу».

Раковины — дефекты отливки.

Герой популярной детской книжки.

Силикоз — разрушение ткани легких вследствие вредного действия силикатов (кремнекислых соединений).

Розовато-лиловый цвет.

«Чтение письма» (фр.).

Голубой — цвет консервативной партии тори.